

ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ БУКВАРЬ

ГОФФРЕДО
ПАРИЗЕ

БУКВАРЬ



G O F F R E D O
P
A R I S E

S I L L A B A R I O

MILANO
1972, 1982

ГОФФРЕДО
ПАРИЗЕ
БУКВАРЬ

Перевод с итальянского

МОСКВА
«РАДУГА»
1986

ББК 84.4Ит Составление и предисловие **Е. САПРЫКИНОЙ**
П18 Редактор **И. ЗАСЛАВСКАЯ**

П18 Паризе Г. Букварь: Сборник. Пер. с итал./
Составл. и Предисл. **Е. Сапрыкиной.**— М.:
Радуга, 1986.— 280 с.

Творчество Гоффредо Паризе занимает значительное место в современной итальянской литературе. На русский язык уже переводились его романы «Хозяин», «Красавец священник», сборник рассказов «Человек — вещь».

Новая книга писателя представляет серию психологических зарисовок, в которых запечатлелись многие нравственно-социальные конфликты капиталистического общества.

П $\frac{4703000000-438}{030(05)-86}$ 52—86

ББК 84.4Ит
И(Итал)

ИБ № 2965

Редактор **И. М. ЗАСЛАВСКАЯ**

Художник **Н. Я. КУПРИЯНОВ**

Художественный редактор **Е. А. КУДРЯВЦЕВА**

Технический редактор **А. П. ПРЯНЧИКОВА**

Корректор **Н. А. ЛУКАХИНА**

Сдано в набор 16.09.85. Подписано в печать 8.04.86. Формат 70×100^{1/32}. Бумага офсетная. Гарнитура журнально-рубленая. Печать офсет. Условн. печ. л. 11,29. Усл. кр.-отт. 23,06. Уч.-изд. л. 11,46. Тираж 50 000 экз. Заказ № 958. Цена 1 р. 30 к. Изд. № 2522.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Можайск, 143200, ул. Мира, 93

Рассказы, отмеченные в содержании знаком *

© 1982 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano

© Составление, предисловие и перевод на русский язык
издательство «Радуга», 1986

Предисловие

Г оффредо Паризе принадлежит к числу писателей, чье слово стало заметным событием в итальянской литературе за последнюю четверть века. Его «Хозяин» (1965)*, например, принадлежит к тому наиболее жизнеспособному ответвлению итальянского реалистического романа, которое выносит беспощадный приговор неокapиталистическому миру. В романе этот мир, вытравливающий индивидуальность и достоинство человека, предстал в гротескных, гиперболических образах, подчас граничащих с абсурдом. После «Хозяина» обличающая гипербола прочно вошла в обиход итальянской реалистической прозы, стала главным приемом сатирической типизации.

Цикл прозаических миниатюр, озаглавленный писателем «Букварь», открывает нам новые грани художественной манеры Паризе. Вот что говорит сам писатель о смысле заглавия и принципе построения цикла: «Эта книга представляет собой настоящий букварь или книгу для чтения о чувствах людей. На каждую букву алфавита я подобрал одно или несколько названий человеческих чувств и проиллюстрировал их примером или коротким рассказом». Как известно, в обычном букваре маленькие рассказы, предназначенные для упражнения в чтении, следуют друг за другом согласно алфавитному порядку заглавий. В «Букваре» Паризе между отдельными рассказами тоже, казалось бы, нет иной внутренней связи, кроме порядка следования букв в алфавите. В первую книгу вошли рассказы на буквы А — F, вторая «проиллюстри-

* Русский перевод: М., «Прогресс», 1966.

рвала» алфавит дальше — но только до буквы S. Паризе не осуществил первоначального намерения дойти в своей «книге о чувствах» до конца алфавита. В небольшом предисловии ко второй книге «Букваря» он уведомил читателей о том, что, несмотря на прежние планы, он прерывает дальнейшую работу: «Я должен был остановиться на этой букве. Поэзия приходит и уходит, когда этого хочется ей, а не нам, и ее ничем не заменишь».

Но почему все-таки именно здесь «поэзия оставила» автора? Мы еще вернемся к разговору о том, случайно ли Паризе поставил точку именно на букве S, после рассказа «Solitudine» («Одиночество»).

Итак, перед нами книга, где под каждой буквой алфавита — одна или несколько психологических «картинок». Собственно, об умении Паризе виртуозно разрабатывать сложные психологические коллизии мы знаем уже давно, со времен «Хозяина»: ведь наиболее яркие сатирические искры романист высекал как раз тогда, когда в гротескную условность ситуации вклинивалось психологически выверенное описание переживаний и поступков героя. На глазах читателя последовательно разворачивался процесс чудовищного перерождения сознания человека, который сделался частью отлаженного социального механизма — некоей таинственной ультрасовременной суперфирмы. На психологии личности, втянутой в процесс интенсивного капиталистического производства, сосредоточено внимание Паризе и в сборнике рассказов «Человек — вещь» (1966)*. Основу его, по словам самого автора, составила серия психологических зарисовок, с помощью которых писатель хотел «в какой-то мере воспроизвести воцарившуюся в Италии атмосферу идейного, духовного и политического вакуума».

Читая «Букварь», мы погружаемся в изменчивый, полный мимолетных оттенков мир настроений, неосознанных душевных порывов, воспоминаний, внезапно возникающих симпатий и антипатий. Автор «Букваря» как будто не намерен делать какие-либо социальные обобщения, как

* Русский перевод: М., «Прогресс», 1970.

это было в «Хозяине», или обрисовывать идейный климат эпохи, как в сборнике «Человек — вещь». Но внимательный взгляд уловит в этих «картинках» немало явственных и очень точных примет времени, разглядит в калейдоскопе психологических казусов любопытные нравственно-социальные конфликты. В самом подборе «иллюстраций» и в их расстановке четко проступают особенности мировосприятия Паризе — художника остросовременного, чуткого ко многим скрытым в повседневности болезненным явлениям нынешнего человеческого бытия.

Но кроме социального звучания, кроме необычной фабулы и тонкого психологизма, «Букварь» Паризе интересен еще и тем, как он написан: чувствуется, что фрагменты, объединенные заглавием «Букварь», хранят своего рода «память» о самых разных жанрах малой прозы. Читающему сборник сразу бросается в глаза однотипность зачинов повествования. Почти каждый рассказ начинается словом «однажды», а персонажи вводятся крайне остраненно: «Однажды некий человек приехал в Милан, где когда-то прожил много лет» («Память»); «В один студёный зимний день некая женщина средних лет...» («Одиночество»). Нередко уже сразу после такого зачина следует своеобразное разъяснение, как бы готовый психологический «ключ» к описанному далее жизненному случаю. Вспомним первые фразы рассказа «Грациозность»: «Начиналось лето, оба находились в том особом возрасте (ему исполнилось сорок, ей — тридцать пять), когда человеческая душа способна на неожиданные порывы, однако лучше удерживаться от таких порывов, потому что тешить себя иллюзией, будто молодость можно вернуть, поздно и уже бесполезно. Тем не менее они, скорее всего бессознательно, очень хотели вернуть молодость и относились к начинающемуся между ними флирту как к забаве, хотя и не без тайной надежды». С подобного общего тезиса начинается и рассказ «Скука», и многие другие фрагменты «Букваря». Эти излюбленные композиционные приемы Паризе придают книге назидательность и заставляют вспомнить о распространенном в средневековой литературе жанре «примера» — короткого рассказа-поучения, иллюстрирующего бытовым житейским фактом ту или иную отвлеченную истину.

Но жанровые корни «Букваря» уходят и в другие пласты повествовательной традиции. Писатель умело использует, например, законы лирической прозы. От последней у автора — игра ритмикой фразы (сам Паризе как-то назвал «Букварь» «стихотворениями в прозе»), задумчивая ироничность речи рассказчика, преимущество описания над диалогом и эмоциональная насыщенность этого описания. Зачастую в передаче атмосферы чувства определяющую роль играет пейзаж — пронизанные зимним солнцем или погруженные в хмурый туман альпийские склоны, виды венецианских площадей, утренние кафе под открытым небом, вода в солнечных бликах, продуваемые ветром ночные мосты над зимними холодными каналами, тянущиеся по холмам ровные полосы виноградников. Зачастую в рассказах вся фабула сводится к спокойной радости общения человека с природой или к неторопливому ритму непритязательного, вполне будничного диалога, который то оживляется, то затихает. Многие эпизоды «Букваря», по признанию самого Паризе, автобиографичны: в них отразились воспоминания писателя о давних встречах, о некогда испытанных ощущениях.

Манера Паризе-рассказчика прочно связана с богатейшей традицией итальянской новеллистики XX века. Иногда мы замечаем характерный для новелл итальянского неореализма интерес к зауряднейшим жизненным ситуациям, к повседневным, незаметным событиям будничной жизни; на этом обыденном фоне в совершенно неожиданном ракурсе предстает человеческая сущность героев «Букваря». При посадке на поезд одна пассажирка нечаянно наступила на мандолину, которую везли с собой другие пассажиры — женщина и ребенок; возникает ссора, крики, угрозы, слезы, виновную заставляют платить за причиненный ущерб — но как-то незаметно конфликт заканчивается сердечным, участливым разговором, только что ссорившиеся женщины желают друг другу добра («Доброта»). Вроде бы ничем не примечателен семейный обед, описанный в рассказе «Привязанность», однако именно эта привычная, знакомая до мелочей обстановка заставляет мужа как-то по-новому взглянуть на свою

семейную жизнь и удержаться от решительного, давно продуманного объяснения с уже нелюбимой женой. На фоне таких будничных неожиданностей лучше всего прописывается в психике героев Паризе свое, неповторимо личное, и становится понятным весь склад их жизни, весь круг их нравственных интересов и общественных возможностей. И читатель ясно видит их судьбу, остающуюся за рамками повествования. Что может быть банальнее такого, например, сюжета: женщина, непривычная к отдыху на роскошных пляжах, забыла о креме для загара и обгорела на солнце — только и всего. Но, показывая смену настроений и чувств героини — радости, надежды, беззаботной уверенности в себе, досады, разочарования, — автор дает нам возможность увидеть всю неустроенную жизнь этой женщины, робкой, замкнутой, неопытной и безнадежно одинокой. Еще более ординарен сюжет рассказа «Бедность»: девчонка из рабочего поселка отправляется в выходной в город за покупками, но ничего путного ей купить так и не удастся. Мы вместе с рассказчиком сочувственно следим за тем, как девушка примеряет платье, сапоги, потом звонит по телефону, заходит на дешевый рынок. Все эти будничные действия помогают нам представить себе точный портрет простой работницы, чувствующей себя неуютно в дорогих модных лавках, недоверчивой и нерешительной, не приученной запросто тратить деньги. Вызывающая участливую улыбку «неожиданная» деталь есть и в этом рассказе: девчонка в конце концов приобретает на маленьком базаре дешевые, грубо сделанные сабо — словом, совсем не то, что ей было нужно. Как психологически верен этот финал рассказа о бедной девушке, которая так и не смогла отступить от привычки покупать по дешевке.

Но «Букварь» иллюстрирует не только различные чувства и настроения людей. В художественную орбиту цикла включены очень серьезные жизненные проблемы, сложнейшие философские понятия современности, события и конфликты, определяющие нравственную и общественную атмосферу всей нашей эпохи. Иногда частная житейская ситуация возводится в степень символа. В рассказе «Голод» с почти протокольной детализацией опи-

сано, как выглядит до крайности истощенный негритянский мальчик и как он через силу улыбается заезжим европейским репортерам, которые щелкают затворами фотоаппаратов, довольные, что запечатлели на пленке «самое то» из африканской экзотики. Короткий эпизод, основу которого составили личные впечатления писателя от поездки в одно из уже не существующих африканских государств, становится обобщением и разоблачением таких пороков современной цивилизации, как социальная несправедливость, атрофия человечности.

С полной актуальной жизненной смысла драмой соприкоснулся и маленький герой рассказа «Другие». Восьмилетний обитатель фешенебельного курортного пансиона, скрытого от чужих глаз густой решеткой, конечно, не понял, почему был с позором изгнан чужак в старой рваной одежде, просивший разрешения искупаться на огороженном решеткой пляже. Зато мальчику открылось, что не все живут так, как он, его родители и друзья, что есть «другие», непохожие на них люди, другой мир, от которого его пытаются оградить.

В целом ряде рассказов «Букваря» затронуты такие важные проблемы нашего времени, как война, милитаризм, фашизм. Интересен в этом отношении рассказ «Родина», отсылающий нас к событиям 1942 года. В омерзительном и одновременно жалком виде предстает здесь инвалид, потерявший ногу еще на первой мировой войне. Этот опустившийся, озлобленный калека, удостоенный орденов за проявленную военную доблесть, носит в петлице и фашистский значок. Он высокомерен, нагл и жесток, этот нищий с жемчужной булавкой в галстук, обзывающий всех «тыловыми крысами». Утративший всякое человеческое достоинство персонаж близок к «чернорубашечникам» не только тем, что выполняет работу осведомителя при фашистском режиме, но и тем, что исповедует культ силы и ненависти к людям. Этот герой 1914 года только и говорит, что о своих заслугах перед родиной, но оказывается, что давно уже нет у него за душой ничего, кроме бессильной злобы.

Рассказы о военном времени и первых послевоенных годах составляют довольно значительный пласт «Букваря».

Героями этих воспоминаний часто оказываются дети. Вообще сознание ребенка, по-особому воспринимающего «взрослую жизнь», помещает в неожиданный ракурс изображаемые ситуации, высвечивает в них неразличимую поначалу психологическую глубину. Так, герой рассказа «Ласка», совсем маленький мальчик, с недоумением и страхом наблюдает, как радуются мать, бабушка и дедушка, когда в доме наконец-то появляется «дядя», который изменит их жизнь, забрав мать и малыша к себе; угодливая благодарность взрослых резко диссонирует с переживаниями мальчика. В рассказе «Гостиница» события последних месяцев фашистского режима в Италии как бы увидены глазами тринадцатилетнего подростка, впервые без родителей приехавшего в другой город и за один день пребывания в местной гостинице успевшего познакомиться с партизаном и стать свидетелем убийства фашистского начальника. Душевная организация ребенка не может вместить весь трагический смысл, всю бесчеловечную сущность войны и фашизма, но, хотя дети заняты прежде всего своими детскими проблемами, жестокая реальность, увиденная их глазами, выступает в «Букваре» Париже как бы еще более рельефно. Именно в восприятии маленького школьника, помогавшего подняться поскользнувшемуся на снегу основному персонажу рассказа «Родина», фигура инвалида с фашистским значком в петлице приобретает особенно зловещую окраску.

Подростки в рассказе «Счастье» беззаботно болтают, купаются, танцуют на берегу канала, радуясь солнцу и какому-то неясному предчувствию близких счастливых перемен; но эта атмосфера дружелюбия и беззаботности не в состоянии развеять антагонизмы военного времени.

Одно из главных средств воссоздания психологического климата в рассказах Париже — «говорящая деталь» обстановки, костюма, внешности. Жемчужная булавка в галстук и фашистский значок на кителе инвалида, потертая черная сумочка в руках незадачливой пассажирки, испортившей мандолину, белые чесучовые костюмы фашистских карателей, прочесывающих деревенские улицы, — в каждом рассказе мы найдем немало выразительных подробностей, делающих образ неповторимо

индивидуальным, органичным и достоверным.

О Паризе писали, что это художник одной темы, что в его произведениях имеется некоторая интеллектуальная заданность, якобы не позволяющая ему воспринимать жизнь иначе как сквозь призму концепции всеобщего отчуждения. Автор романа «Хозяин», несущего в себе мощный критический заряд, едва ли заслужил упрек такого рода. Однако следует признать, что в двух книгах «Букваря» мы вновь находим развитие ранее определенвшейся темы творчества Паризе — темы разобщенности, отчужденности людей капиталистического общества, причем проявилось это и в содержании рассказов, и тем более в композиции цикла.

Немаловажно то обстоятельство, что Паризе начинает сборник со слова «Amore» («Любовь») и заканчивает на слове «Solitudine» («Одиночество»). Кстати, чтобы начать «Букварь» со слова «любовь», писателю пришлось отступить от алфавитного порядка: он поставил «Amore» перед «Affetto» («Привязанность»), названием второго рассказа цикла. Подобный сбой наблюдается и в начале второй книги цикла: Паризе открыл ее новеллой «Счастье» («Felicità») и только потом, опять нарушая алфавитный порядок, поместил рассказ о голодном ребенке из африканской деревни — «Fame».

Гармония любви — и пустота непонимания, тепло счастья — и отчаяние одиночества. Между этими полюсами располагаются житейские примеры, которыми Паризе иллюстрировал свой «Букварь». Любовь и одиночество — у Паризе это крайние точки многих описанных им судеб, но также и две неразделимые колеи любого переживания и любого жизненного случая, описанного в книге. То, что сближает героев книги, хрупко и недолговечно; в конце концов каждый остается наедине только со своим одиночеством. От безнадежного одиночества умирает добрый и доверчивый пес Боби («Душа»). Отчаяние одинокой, незащищенной старости выплеснулось в крике «Ну, кокни, кокни меня!», которым ответила старая дама на традиционную угрозу уличных грабителей, и страшная сила этого крика обратила бандитов в бегство («Страх»). Наконец, в рассказе «Одиночество» героиня оказывается

не в силах ответить на проявления любви, участия, бескорыстной дружеской симпатии, которыми встретили ее старые друзья и совершенно незнакомые ей обитатели деревни, куда она приезжает в гости; женщина уходит от них и вновь замыкается в скорлупе своего одиночества.

Тема разобщенности людей в современном мире волнует многих художников; для западного писателя, увидевшего, подобно автору «Хозяина», сколь серьезную угрозу человеческой личности таят в себе новейшие тенденции капиталистического производства, эта тема более чем злободневна. Но, хотя в «Букваре» перед нами вырисовывается в целом безрадостная перспектива, проделанный писателем микроанализ житейской повседневности позволил ему показать сложный мир переживаний современного человека, выявить подвижную, богатую оттенками фактуру индивидуально-неповторимого чувства. Это углубленное внимание к простым, казалось бы, происшествиям в сфере психологической жизни персонажей «Букваря» сообщило большинству включенных в него «примеров» столь редкую в нынешней новеллистике поэтичность. Жаль, однако, что «поэзия ушла» от Паризе, не дав ему заглянуть дальше, за непреодолимые, как ему показалось, границы одиночества.

Е. Сапрыкина

A

ЛЮБОВЬ	AMORE
ПРИВЯЗАННОСТЬ	AFFETTO
ДРУГИЕ	ALTRI
ДУША	ANIMA
РАДОСТЬ	ALLEGRIA
РАЗДРАЖЕНИЕ	ANTIPATIA

Как-то раз один мужчина познакомился в доме друзей с молодой дамой, но не рассмотрел ее хорошенько; он заметил длинные рыжеватые волосы, скуластое лицо славянской крестьянки и неизящные руки с очень короткими ногтями. Она казалась робкой, словно боялась заговорить, высказаться. Муж, коренастый человек с замкнутым лицом и недоверчиво прищуренными глазами, дышал, раздувая горло, наподобие лягушки-древесницы. Лодыжки у него, однако, были хилые, старческие, и эти две черты — горло и лодыжки — создавали впечатление одновременно силы и слабости.

Мужчина знал, что эти первые впечатления, подчас кажущиеся окончательными, на самом деле мало что значат, потому что он был рассеян, да к тому же ничего и не произошло; он почти не заметил, когда супруги ушли, и не запомнил даже их голосов.

Прошло какое-то время — и он снова увидел их в ресторане. Вернее, увидел только жену, которая стояла у столика, собираясь сесть. В этом движении она легким жестом грубоватой руки отбросила в сторону и тут же пригласила свои волосы цвета припыленной моркови и одновременно изогнула спину. На ней был черный брючный костюм с металлическим позолоченным поясом на бедрах и черные лакированные туфельки с пряжками. И вдруг, по молниеносному совмещению причин, столь же таинственных, как и случайных, она стала настоящей красавицей. Мужчина — он наблюдал за ней с неближнего столика — почувствовал, как до смешного часто забилося его сердце, ибо он понял, что понял ее всю. И она тоже поняла все о нем (даже и то, что он ее понял), потому что сразу обернулась, узнала его и одарила ликующей улыб-

кой, которую тут же наивно попыталась умерить в пределах хорошего тона для взрослых. Но полет этой улыбки оторвал ее руки от стола, и кончики лакированных туфельек напряглись, как будто она порывалась вскочить. Это было лишь мгновение, а затем дама обратила к своим спутникам приветливое, но серьезное лицо, затененное волосами, и туфельки успокоились. Мужчина не сводил с нее глаз, пока не утихло сердцебиение. Тогда он посмотрел на нее уже с меньшим восхищением и с легким любопытством, словно на незнакомку (какою, собственно, она и была); но и такое наблюдение банальных подробностей лишь подтвердило великую и естественную красоту женского облика, так что ресторан показался ему пустынным или, во всяком случае, окутанным маревом красок и звуков, как это бывало в старых и, наверное, плохих фильмах. Мужчина внезапно ощутил слабость и признаки того особого волнения, которое ему случалось испытывать еще с той поры, когда он ребенком видел мать, вышедшую на прогулку в ясный морозный день, ее шею, закутанную в черно-бурый мех с белыми кончиками, ее алый блестящий рот и родинку на напудренном лице. Он отвел глаза от столика в тот самый миг, когда женщина сама искоса посмотрела на него, уже не улыбаясь, и лицо ее, полыхавшее жаром, было смято неожиданным, несправедливым, непонятым для нее страданием. Миндалевидные глаза были широко открыты, словно смотрели во тьму.

Однажды вечером, в обществе друзей, которые упомянули об этой паре, мужчина вдруг обнаружил, что говорит сам себе вслух, чтобы скрыть волнение: «Судьба нас сведет снова». Друзья не поняли, к чему это относилось, но вскоре послышалось гуденье автомобилей, и в дом вошла шумная, веселая компания; в этом веселье, однако, было что-то натянутое. Взгляды мужчины и женщины встретились, и оба тут же опустили глаза. После первых минут неловкости они разговорились. Она рассказала, что

много лет занималась классическим балетом, но, выйдя замуж, перестала танцевать, отдавшись семейным обязанностям. А теперь ей иногда бывает очень грустно.

— Почему же?

— Право, не знаю.

— Может быть, вам хотелось бы стать балериной?

— Хотелось бы, но, знаете, мало кому это удается, а потом — я же замужем. Не понимаю, почему мне иногда бывает так грустно. Ведь я счастлива, очень люблю мужа и детей, у нас прекрасная семья, а для меня это важнее всего на свете. Странно. Муж говорит, что у меня небольшое нервное истощение.

Мужчина знал, что ничего странного тут нет, но из почтительности и деликатности ничего не сказал. Он перевел взгляд на мужа, которого пока еще не успел разглядеть. Тот утопал в мягком кресле — в надменной позе было что-то старомодное, из прошлого века — и дышал на свой манер, раздувая горло. Разговаривал он тоже самоуверенным тоном, но хилые лодыжки лишали всякой авторитетности все то, что он говорил и как говорил, и слова, выходя из широкого разреза рта, рассеивались по комнате, словно легкие, равномерные дуновения. Он понял это, весь сжался внутри себя и в кресле, замолчал и с этого момента стал копить в себе терпение и коварство.

Мужчина заметил, что дама много курит и пьет. Она говорила самые простые вещи с расстановкой, как-то подетски, чуть хриплым голосом и время от времени покашливала. И все-таки красота ее оставалась чистой и нетронутой, словно никогда не было у нее ни мужа, ни детей, ни семьи, словно никогда она не курила и не выпивала.

Мужчина очень редко бывал в том городе, где жили супруги. Но однажды он увидел ее в окошко автомобиля: она ехала в машине в противоположном направлении и приветствовала его той же неудержимой улыбкой, что и в первый вечер в ресторане. Они в одиночестве сидели за рулем своих автомобилей (одинаковой марки и одной

и той же модели), и оба одновременно затормозили. Мужчина подождал, когда дорога освободится, развернулся и подъехал к ее машине, остановившейся на другой стороне; но едва он приблизился, как женщина вновь включила скорость, и он еще несколько секунд видел в зеркальце ее лицо, припухшее, словно у мальчика, получившего сильный удар кулаком; поэтому он дал ей уехать.

Однажды она позвонила ему очень издалека, чтобы пригласить в воскресенье на ужин. Сначала он не понял, кто говорит, а потом его охватило взволнованное удивление, и он сказал, что много раз проехал бы сотни километров, лишь бы увидеть ее, потом стал бормотать что-то еще. Она ответила, что «должна положить трубку».

Они увиделись на большом праздничном вечере. Ее лицо было прекрасным, испуганным и несчастным. Но была в этом лице и какая-то упрямая горделивость, которая его задела и погасила начавшееся сердцебиение. Когда им представился случай поговорить (чего она долго избегала, и он все время танцевал с красивой дамой, которая хохотала, закидывая назад голову), она сказала, что была оскорблена и разочарована тем, что он наговорил ей по телефону. Она счастлива, очень счастлива, влюблена в своего мужа, их брак — «совершенно исключительная вещь». Она добавила, что рассказала об этом телефонном разговоре мужу, потому что у них нет друг от друга секретов. Говоря все это, она высокомерно улыбалась, но лицо ее вспухло от горя и стыда и по углам рта появились складки, доходившие почти до подбородка. Он посмотрел на ее мужа, который исподтишка все время наблюдал за ними и теперь расхаживал взад и вперед, сгорбившись и то теряя, то вновь обретая самоуверенность. Потом он уселся на приступку около маленького оркестрика, делая вид, что слушает музыку, и, устремив глаза куда-то вверх, издал горлом резкий царапающий звук, не услышанный никем в шумихе вечера.

Внезапно женщина сказала:

— Оставьте меня,— и, ссутулившись, неверной, неровной походкой отошла к окну и прижалась лбом к стеклу, держа в руке бокал с виски.

Позже кто-то сказал, что она плакала и даже устроила истерику — вероятно, потому, что слишком много выпила.

Невзирая на все это, мужчина был приглашен к ним на званый ужин, от которого решил не отказываться из вежливости, а также потому, что хотел вновь увидеть ее. За столом он сидел с нею рядом, у нее по-прежнему были складки в углах рта, говорила она с ним вызывающе и если улыбалась, то лишь презрительной улыбкой, не разглаживавшей черт расстроенного припухшего лица. Два-три раза они случайно коснулись друг друга рукой или плечом, и она оскорбленно отстранялась. Мужчина стал внимательно следить за тем, чтоб это больше не повторилось, отодвинул стул, потом вышел из-за стола и отправился бродить по дому. Проходя в поздний час по полутемному коридору, он натолкнулся на девочку в ночной рубашонке, растерянную, рыженькую, как мать, и погладил ее по голове. Девочка схватила его руку, положила себе на грудь и сжала, как это бывает во сне, устремив взгляд в темноту коридора. Потом она выпустила его руку и куда-то ушла, разметав пряди волос. Мужчина вернулся в столовую, где муж разливал шампанское; она все еще сидела во главе стола, твердая и суровая, муж улыбался и был услужлив и доброжелателен.

Мужчина все реже возвращался в тот город и больше не встречался с супругами. Когда он думал о ней, ему неизменно казалось, что все это было очень давно. На самом же деле прошло всего несколько месяцев, но таково было чувство, испытанное им и молодой женщиной (и описанное здесь), что они — сами того не желая и не ведая — прожили и расточили за короткий срок несколько лет своей жизни.

Однажды очень богатый, но «порядочный» человек, хорошо знающий жизнь — благодаря, в частности, светскому воспитанию и дорого обходящимся пустякам, — вошел в свой огромный семейный особняк с намерением «дать понять» жене, что он больше не любит ее, хотя и любит очень-очень сильно. Он много раз пытался сделать это, но в последний момент ему всегда что-то препятствовало, и, быть может, теперь уже не было надобности «давать ей понять», быть может, жена уже сама поняла это, но мужчиной, о котором идет речь, в тот день владело особое душевное состояние недовольства самим собой, а следовательно — склонность быть жестоким с другими.

Вот уж десять лет он не испытывал никакого влечения к жене (оба они были уже немолоды), и потому его мучил стыд перед ней, ибо это казалось ему свидетельством вульгарной стороны его натуры. В последние годы они как бы случайно стали спать в разных комнатах, но оба знали, что это не «случайно», что произошло нечто неуловимое и неопределимое, не позволяющее им спать в одной постели; столь же непозволительным стало для них видеть друг друга иначе как в одежде и по возможности в присутствии других людей, причем лучше чужих, а не членов семьи.

С течением времени мужчина все острее ощущал обязанность объяснить жене то, что он сам считал необъяснимым — тем более необъяснимым, что время и привычка к супружеской жизни не сгладили присущую им обоим природную застенчивость, а, наоборот, увеличили ее до такой степени, что муж зачастую стыдился и даже раздражался, если жена заставляла его в халате, или только что проснувшимся, или погруженным в чтение. В такие минуты он предпочитал быть наедине с самим собой или же с чужими, но не с ней. При ней он чувствовал себя свобод-

но только в вечернем костюме, когда крахмальный воротничок и пластрон создавали между ними болезненную, изящную независимость, которая считалась «секретом их обаяния».

И все же он иногда с удовольствием дотрагивался до волнистых волос или до платья из креп-жоржета, которое находил самым элегантным из всех ее нарядных платьев; иногда с удовольствием смотрел, как она смеется, а однажды у него замерло сердце, когда она споткнулась и чуть не упала, словно близорукая девочка. Но это приятное чувство было очень вялым; и наоборот, с неудовольствием он вспоминал их любовные встречи в юности, когда она поджидала его в полях — полноватая, чуть вспотевшая, с невыбритыми подмышками, вздрагивавшая, как очень породистая лошадь; ее коротко стриженные рыжие кудри лежали тугими завитками, а не очень ухоженные руки были сухими и трепетными, а не инертными и влажными от крема. И это неудовольствие, проистекавшее не столько из ощущения бренности былого, сколько из невозможности его обновления и воплощения в тех же людях (в них двоих), по его, как он считал, вине, и вызывало в нем стыд перед женой.

Жена, которая теперь была статной женщиной с короткими рыжими вьющимися волосами, рассеянным взглядом и простодушной, но в то же время светской улыбкой, разгонявшей мелкие и редкие морщинки в уголках рта, не поняла всего того, что понял муж и что он хотел бы ей объяснить — только не словами; но она «почуяла» это с первого же дня, когда муж лег спать в другой комнате. С тех пор она продолжала «чуять»: быть может, не желая понимать или же просто потому, что по натуре становилась все менее «плотской», а ее любовное и супружеское чувство, вероятно, в силу полученного воспитания было очень сильным, но ненавязчивым.

Войдя в дом, муж поднялся по одной из двух больших дугообразных лестниц, ведущих в передние салоны, за-

тем на маленьком лифте добрался до белоснежной гостиной-веранды, где стояли большие белые азалии и где его ожидали жена и дети. Он поздоровался со всеми (жену поцеловал в висок) и направился в столовую. Эта комната была овальной формы, на стенах, покрытых светло-голубым лаком, висели друг против друга два пейзажа Лонги. С четырех сторон на светло-голубых фарфоровых пьедесталах цвели розовые азалии. Около картин стояли наготове двое молодых лакеев в черных пиджаках и серых брюках, а у двери — метрдотель во фраке и полосатых брюках.

Муж дождался, пока жена войдет и сядет во главе стола; тогда сел он сам напротив нее, а затем и дети — дочь справа, сын слева от него. Он шутливо поговорил с сыном по-английски (мальчик был веселый, но слабенький, чересчур «вышколенный» — по-английски он говорил лучше, чем по-итальянски), потом, словно себе в утешение, взял за руку дочь, улыбаясь и глядя ей в глаза. Но вместо того, чтобы утешиться, совершенно неожиданно растрогался, ибо увидел в пятнадцатилетней девочке манеру матери — тех времен, когда они познакомились. С бесконечной нежностью он притянул дочь к себе и уткнулся лицом в копну ароматных волос, курчавых, как у барашка.

Обед проходил как обычно: лакеи повиновались редким знакам метрдотеля (и он, и лакеи знали, что в знаках нет никакой нужды, но все-таки без них не обходилось) и в полнейшем молчании, словно в немом фильме, выполняли свое привычное дело.

Когда подали кофе, дети ушли (девочка при этом споткнулась), и супруги остались один на один в огромной комнате с распахнутыми окнами. Некоторое время они сидели молча (из сада доносился легкий стрекот косилки), потом заговорили о поездке в Бангкок известного портного, который бывал в их доме, потом о возможном и весьма желаемом браке (или союзе) их приятельницы-

вдовы с университетским профессором, бедным, но молодым, красивым и «порядочным», который вылечил эту приятельницу от алкоголизма. Помолчали (муж закрыл глаза); потом он взял газету и развернул ее так, чтобы она не полностью закрывала его от жены. Время от времени он поглядывал на нее, затем положил газету на колени и посмотрел пристальнее. Он уже хотел было заговорить (не зная, что именно скажет, но зная, что скажет это), как вдруг жена встала, быстро пожала ему руку и, тут же отпрянув, подошла к телефону у окна и завела длинную беседу с подругой,— беседу почти молчаливую, состоявшую едва ли не исключительно из улыбок. Он встал, подошел к жене, поцеловал ее в висок и вышел из комнаты.

ALTRI

ДРУГИЕ

Однажды в августе 1938 года, часа в два пополудни, восьмилетний мальчик «из хорошей семьи» с кругленькой головенкой на хрупкой шее бродил около купальной кабины пляжа «Гранд-отель де Бэн» на венецианском Лидо. Он был один, так как подружка его всегдашних игр спала вместе с няней в прохладной комнате отеля. Немецким мальчикам, с которыми он недавно свел знакомство, несколькими годами постарше его и уже умеющими плавать (а он никак не мог научиться), не разрешалось оставаться в эти часы на пляже, и они играли в крикет на лужайке в парке, среди брызг поливальных фонтанчиков.

Мать ребенка, очень любившая загорать, растянулась на лежаке, покрытом белым мохнатым полотенцем с монограммой, похожей на силуэт башни,— ее тело, бронзовое и блестящее от крема, было частью в тени, частью — на солнце; ее длинные черные волосы, распущенные и отброшенные с затылка набок, свешивались с топчана,

касаясь песка. Время от времени, быть может во сне, она поворачивалась медленными и царственными движениями атлета или змеи боа под слепящими солнечными лучами. Бонна фройляйн Этта, с одинаково розовыми и одинаково пахнущими марсельским мылом щеками, руками и ногами, спала (впрочем, этого никогда нельзя было сказать наверное) в шезлонге под тентом, полностью одетая. Лицо ее было словно укупорено с боков двумя шиньонами из тонких, туго заплетенных косичек, в которых перемежались белокурые и седые пряди. Стояла сильная жара, вода была неподвижна, и пляж почти пуст.

Однако по ту сторону сетчатой металлической ограды и кустарника, позади кабин, мальчик видел гуляющую и глазающую толпу экскурсантов с картонками и сумками; кое-кто, вытягивая шею над оградой, рассматривал исчерченный волнообразным рисунком песок, а за ним — море. Мальчик с ведерком в одной руке и лопаткой в другой стоял, неподвижный и рассеянный, в продолговатой тени, которую отбрасывала кабина, и словно старался удержать на плечах свою наивную круглую головенку. Внезапно он увидел, что какой-то человек перелезает через ограду: казалось, он очень торопился, дважды соскользнул, зацепился и разорвал о проволоку свой синий пиджак, но в конце концов, дрыгая чересчур длинными конечностями, перевалился по эту сторону заграждения. Он полежал немного, скрючившись на грязном песке и поглядывая по сторонам, заметил смотрящего на него мальчика и, убедившись, что кругом никого больше нет, поманил его к себе. Испуганный, но в то же время заинтересованный, ребенок побежал к нему мелкими шажками, помахивая ведерком и лопаткой.

Человек встал, зашел в узкий проход между двумя кабинами последнего ряда и поджидал там ребенка. Это был чрезвычайно высокий и худой мужчина, с бледной кожей, узколицый, в очках с толстыми стеклами и сверкающими на солнце, так что через них невозможно было

увидеть глаза. Мальчик заметил, что один из металлических заушников сломан и перевязан черной ниткой, ботинки тоже были рваные, а носки закручивались на щиколотках почти у края ботинок. Человек стал раздеваться фантастически быстро, принимая во внимание его рост, и в один миг оказался в трусах, к великому смущению и замешательству мальчика. Трусы были широкие, из черной материи, сзади зияла прореха в форме семерки. Человек свернул обувь и одежду в огромный узел и, подавая его мальчику, сказал:

— Поможешь мне?

При этом он попытался погладить его своей холодной длиннющей лапой (на обычную руку она не походила).

Ребенок, объятый ужасом, отступил и ничего не ответил; человек повторил свои слова и попросил совсем недолго постеречь его вещи: он хотел «помыть ноги» и посмотреть на море, которого никогда не видел. А потом «он даст ему на чай». Эти объяснения и толстые сломанные очки уменьшили страх мальчика; его невольно притягивало — физически притягивало — к этому человеку огромное сострадание. Мальчик протянул руки, человек подошел вплотную, передал ему узел и, пристально взглядевшись, как это делают люди с плохим зрением, увидел катившиеся по щекам ребенка слезы. Человек улыбнулся влажным некрасивым ртом, из которого несло запахом вина и табака, спросил:

— Тебя что, наказали? — и ушел.

Издали ребенок смотрел на шагающие к морю тощие ноги-ходули и на черное знамя развевающихся рваных трусов; он пришел в ужас от ответственности и от тяжести узла, которого не смог удержать и уронил на песок. Внезапно он возненавидел этого человека, полностью забыв свое недавнее чувство. С огромными усилиями он подтянул скверно пахнувший узел поближе к кабине. Осторожно последил за матерью и фройляйн. Обе спали. Из последних сил ребенок втащил одежду в кабину и стал за-

пихивать ее в дальний угол. Но тут он почувствовал за собой тень и услышал пронзительный голос гувернантки:

— Was ist denn das?*

Ребенок залопотал по-итальянски, растеряв все немецкие слова, схватился обеими руками за свою круглую голову, словно поддерживая ее, с намерением (он не знал хорошенько, с каким из двух) поскорее все рассказать или попросить прощения.

Голоса разбудили мать, которая, приподняв рукой волосы, спросила, что случилось. Фройляйн Этта объяснила то, чего объяснить не могла, поскольку сама не получила объяснений, и посему не пошла дальше взволнованных восклицаний, которые начинались и кончались одними и теми же словами: "Ein mann... ein mann!"**. Позвали старого верного сторожа, который осмотрел узел (его, пиная носками тупелек, выбросила из кабины фройляйн Этта) и, сжав кулаки, помчался по пляжу искать чужака. Тот был быстро опознан, схвачен за руку и приведен к ним с ругательствами, тычками и вывертыванием длинных рук. Малышу показалось, что человек плюнул в тащившего его сторожа. Мать сказала:

— Пустите его, Джованни.

Человек, отпущенный сторожем, подошел к семейной группе и сказал матери, что он хотел заплатить, что он не вор и за всю свою жизнь никогда ничего не крал. Он нашарил в свертке с одеждой нечто вроде бумажника из черной материи и, поднеся его к очкам, собирался вынуть деньги, но мать остановила его жестом руки.

— Нет, нет!

Человек посмотрел на мальчика и с улыбкой, в которой тот почувствовал слабость и фальшь, хотел приласкать его, но фройляйн отстранила ребенка. И тогда человек удалился со свертком, в своих широких трусах, большими,

* Это еще что такое? (нем.)

** «Какой-то человек... человек!» (нем.)

медленными шагами, и, чтобы изобразить достоинство, которое он утратил с детства, вскинув голову, приглаживал на ходу свои редкие волосы.

Мать приказала сторожу закрыть пляжный зонт, медленно повернулась и подставила солнцу все свое длинное тело в черном купальнике. Фройляйн Этта принялась читать ребенку нескончаемое наставление о "unbekanntem" (незнакомых) со все более длительными паузами, и это продолжалось почти до самого заката. Потом солнце село, и семья удалилась в свой стерильный, как в клинике, гостиничный номер.

Ночью ребенок все думал об этом человеке, слушая, как ленивые волны лагуны ложатся на пляж вместе с лунными лучами. Он задавал себе множество вопросов, надеясь, что очки, бледная кожа, гигантские башмаки и узел дадут на них ответ. Его снова охватило беспредельное страдание, и несколько раз он принимался плакать. Кто был этот человек? Вор, выпущенный из тюрьмы заключенный, бедняк, обедневший богач (может ли с ним самим случиться такое, когда он станет взрослым?) или больной, и как это возможно, что он никогда не видел моря? Есть ли у него семья? И почему сам он плакал, когда встретил его? Все эти вопросы остались без ответа в голове ребенка и позже — взрослого человека, но в тот самый день он узнал — именно потому, что на его вопросы так и не нашлось ответа,— о существовании «других».

ANIMA

ДУША

В один июньский воскресный день ничем не примечательный пес по имени Боби, у которого как будто и был хозяин, но вроде и не было, двинулся без всякой цели, то и дело останавливаясь, по улицам обычного итальянского

города. Время было послеобеденное, большинство людей, вероятно, спали или отправились в кино, а может, на прогулку по холмам. Весело, но все же менее празднично, чем утром, звонили колокола одной из романских церквей, и звон этот проникал в длинные, затененные галереи древней, притихшей улочки, по которой вприпрыжку бежал пес. Прежде чем отправиться на прогулку, он долго лежал в конуре, построенной из больших коробок с надписью «Барилла»*, что валялись посреди двора, и ожидал возвращения человека, которого считал своим хозяином: конуру он сделал, но тем его забота о собаке и ограничилась; этот человек почти никогда не появлялся, не пришел и в тот день, а потому Боби решил скрепя сердце, что имеет моральное право отлучиться.

Двигала им лишь одна потребность (голод), хотя и окрашенная многими чувствами: прежде всего неодолимым желанием ощутить разом максимально возможное число запахов в самых невероятных сочетаниях, затем скукой, которая у собак несколько — но не слишком сильно — отличается от человеческой, еще — задетым поведением хозяина самолюбием (он очень любил хозяина, но всегда подозревал, что любовь эта безответная) и, наконец, гордостью оттого, что в жилах его течет на две трети «голубая» кровь. Боби был, в общем-то, дворняжкой, однако произошел от гладкошерстного терьера, лишь с небольшой примесью других пород, в основном собак с короткими лапами. Гибрид получился неплохой, в результате чего мания величия, отличающая породистых собак, почти победила комплекс неполноценности дворняги; несмотря на короткие лапы, Боби держался с достоинством и обычно трусил непринужденной рысцой, но изредка все же поджимал хвост и пускался вскачь, опасаясь неприятных последствий, угрожающих всем, у кого в ро-

* Широко известная фирма по производству макаронных изделий.— Здесь и далее примечания переводчиков.

дословной имеются темные пятна.

От гладкошерстного терьера Боби унаследовал одну из главных черт — возбужденную дрожь, которой был способен отдаться немедленно и целиком при малейшем нервном импульсе. Благодаря этому один человек с неустойчивым характером — его симпатии слишком быстро сменялись антипатиями, — как-то увидев Боби и почувствовав внезапное расположение, построил псу будку из картона, несколько раз выводил на прогулку (однако не прибегая к такой обязывающей детали, как поводок, чего Боби весьма желал) и от случая к случаю опекал его. И все же Боби, по причинам, которые здесь уже названы, а может, попросту из-за своего характера, не ощущал себя счастливым. Но благодаря большой силе и уму (он, скажем так, понимал жизнь) Боби, в сущности, был добрым псом. Он не страдал снобизмом, как все породистые собаки, но в отличие от дворняжек никогда попусту не скулил, не ярился, не проявлял щенячьего восторга; он был «независим».

Голод никогда не представлял для него проблемы: неизменно находились временные благодетели, а при отсутствии таковых он обращался к бачкам с отбросами, где своей вытянутой мордой — приметой всех гончих, охотящихся на лис (говорят, именно с охоты много тысяч лет назад собаки этой породы начинали свою карьеру в обществе), — в секунду выискивал что-нибудь съестное, разбрасывая мусор во все стороны.

В тот день он увидел, как два кота — белый с рыжими пятнами и совсем рыжий — бросились к окну, откуда упал влажный пакет. Боби все понял, но не утратил осанки, более того — с легкомысленного галопа перешел на мерную угрожающую рысцу. Ударившись о землю, пакет лопнул; в нем оказались отваренные спагетти, но в ту же секунду облезлые коты увидели пса: рыча, как будто его душат (еще одно наследие терьера), он бросился животом прямо на еду. Коты злобно зашипели и пустились

наутек, а Боби медленно съел все, не обращая внимания на грозные выкрики старушки, которая, свесившись с подоконника, вылила на него два таза воды.

Покончив с содержимым пакета, он вновь рысцой побежал своим путем, обогнул угол, другой, и здесь на его пути возникла первая помеха: метрах в двадцати от него встал в стойку чистопородный гладкошерстный терьер — старый знакомый. Его держал на поводке обожающий свою собаку хозяин — некий болван в огромных очках. По своему обыкновению он завопил как безумный, указывая на Боби:

— Бири, гляди, твой враг!

Бири остервенело залаял, его хозяин смеялся до слез, но все это продолжалось совсем недолго, так как Боби, лишь из приличия огрызнувшись, почел за лучшее убраться и, обежав еще два угла, вновь обрел спокойствие. Он знал одно место — дровяной склад под открытым небом и заброшенную церковь, где собирались собаки, — туда и направился, но там никого не было. Он долго обнюхивал все вокруг, однако не обнаружил свежих следов.

Тогда он двинулся к городскому парку, месту опасному для таких псов, как он, зато там всегда можно было найти компанию, обычно в парке собирались его друзья-приятели: престарелый черный пес, отдаленно напоминающий ищейку, и полуслепая, трясущаяся, толстая старуха, представляющая собой невообразимую помесь самых захудалых дворняг. Они были до крайности падки на запахи, но брали их без разбора, как все старики, чем вызывали к себе некоторое отвращение. Обеих собак муниципалитет оставил в покое. Еще там вертелась слегка сумасбродная сучка, которая порой исчезала надолго, а потом вновь появлялась; кроме того, было двое псов — помесь дворняги со шнауцером, — «весьма интеллигентных, обаятельных» и существовавших неизвестно чем — возможно, у них были какие-то покровители. Однако в то воскресенье и в парке никого не оказалось. Правда, играл

военный оркестр, и музыка настолько увлекла Боби, что он остался до самого конца программы, ловя запахи среди небольшой группы слушателей, которых его приближение нисколько не беспокоило.

Из городского парка он побежал дальше: главные улицы города были украшены множеством флагов, повсюду играли оркестры, и люди в военной форме шагали прямо посередине мостовой. В одном из проходных дворов Боби неожиданно для себя наткнулся на четырех собак, которые не меньше его удивились этой встрече. Минуту спустя они стали друзьями, даже больше чем друзьями: бездомные, до сего момента совершенно не знакомые друг другу собаки по неведомо каким законам судьбы, общим для всех живых существ, вдруг превратились из жалкой своры псов (трое из пяти своим видом внушали ужас: один где-то потерял лапу, на других после многочисленных баталий клочьями висела шерсть) в некий общественный союз (с крайне ограниченным членством), в историческую силу (небольшую, разумеется), почти что в зародыш политической организации (а разве элита была когда-нибудь многочисленной?), возможно даже, со своей программой. Во всяком случае, выглядело все именно так: развевались на ветру знамена, играли оркестры, люди в мундирах чеканили шаг и что-то выкрикивали, должно быть лозунги, но главное — пятеро животных, в едином порыве со всеми, выбежав на дорогу и наострив искусанные крысами уши, обрели уверенность и надежду, которые свойственны не собакам, а существам гораздо более высокого порядка.

Прошло два часа, до предела заполненных событиями «чрезвычайной важности»; никто их не гнал, и они приняли участие во всех больших и малых собраниях, состоявшихся в тот день. Дважды их, правда, побеспокоили породистые собаки: один раз это была черная овчарка, которая, потянув за собой хозяйку, двинулась в их сторону, но отнюдь не ища ссоры, а лишь желая понюхать и поделить-

ся собственным запахом. Во второй раз они натолкнулись на двух доберманов-близнецов: злые, как эсэсовцы, они выскочили из какого-то джипа с явным намерением атаковать наших псов, но, к счастью, им помешали намордники. И тем не менее вид их оказался настолько устрашающим, что единство группы полностью распалось: пятеро друзей со всей мочи бросились врассыпную. Непонятно каким образом они вновь оказались вместе далеко-далеко от центра города, почти у выезда на автостраду, и уже не было в них никаких следов прежней надежды: они вновь превратились в самых обыкновенных собак.

Трехлапый пес попытался как-то оживить атмосферу этого воскресного дня (хотя солнце уже клонилось к закату), сначала исполнив пару кульбитов, а затем припустившись за тягачом, но никто его не поддержал — лишь Боби, да и тот, пробежав сотню метров, остановился, пьяный от бензиновых паров. Пошатываясь, он обогнул тягач справа, и в этот момент на него налетел мотоцикл, который затормозил, резко дернулся в сторону и покати́л дальше. Удар оказался очень болезненным, но Боби все же потихоньку добрался до своей конуры и там, не ожидая более забывшего о нем хозяина, умер.

Совершенно случайно день спустя хозяин, точнее, человек, которого Боби считал своим хозяином, проходил мимо. С острой, но мимолетной грустью он вспомнил резвого пса и полувопросительно-полуутвердительно сказал себе очень красивые и достойные слова: «У собак есть душа».

ALLEGRIA

РАДОСТЬ

Однажды мать и сын восемнадцати лет, очень похожие друг на друга, с легким характером и весьма скромными доходами, отправились на курорт, о котором мать слыша-

ла от своих подруг. Располагался он в гористой местности, в ложине, неподалеку от всем известных братских могил — там до сих пор находили останки итальянских солдат, погибших во время первой мировой войны. В центре небольшого парка, где водились косули и белки, в период между двумя войнами построили большой отель с великолепными номерами. И надо же было случиться, что его управляющий много лет назад учился в одной школе с мужем матери: завязалась переписка, и семья узнала, что воздух в тех местах отменный, а обслуживание и цены — управляющий, памятуя о давней дружбе, сделал скидку — весьма устраивали их.

Как выяснилось, по вечерам в отеле проводились танцевальные вечера с оркестром, и поскольку мать никогда не выезжала на отдых, во всяком случае на столь фешенебельный курорт, то сборы начались задолго до отъезда. А еще говорили, в тех горах много цикламенов, что предполагало неизбежные прогулки, и сын (разумеется, держа это в глубокой тайне от матери) намеревался пройти «школу альпинизма», взбираясь на остроконечные вершины холмов, красовавшихся на открытках. Им стало известно также о прекрасной кухне отеля: по утрам — кофе с молоком или чай, масло и джем, на обед — первое, одно или два вторых с гарниром, фрукты и кварта бочкового вина на человека (марочное, безусловно, в счет не входило), вечером — несколько более легкий ужин и «вдоволь» хлеба. И наконец, им сообщили, что из года в год в отель приезжают вместе с семьями дети крупного промышленника из провинции: они якобы очень привязаны к этому месту, так как именно их отец построил здание, впоследствии, правда, проданное акционерному обществу.

Мать была просто одержима мыслью об этих семьях, а также о танцевальных вечерах — сама-то она, разумеется, танцевать не собиралась, но сыну, хотя бы из приличия, следовало непременно принять в них участие. По этой причине она отнесла к портному ни разу не надеванный смо-

кинг отца и заказала перешить его на сына. Количество одежды возрастало с каждым днем, и они купили чемодан, который в день отъезда сын не смог поднять, несмотря на все усилия. Тогда вызвали носильщика, да и тот поворчал.

Отец проводил их до самого автовокзала. Они удобно устроились в креслах сразу же за водителем, где укачивает меньше (чтобы занять именно эти места, они приехали на вокзал заблаговременно), гигантский чемодан кирпичного цвета был водружен в багажный отсек, и, когда вслед за ними уселись еще несколько пассажиров, автобус тронулся. Отец же бодрым шагом вернулся в город. Он был в прекрасном настроении, что объяснялось двумя причинами: во-первых, ему предстояло целый месяц провести дома только с котом, во-вторых, он радовался за жену и сына, которых в глубине души считал несчастливymi. Он даже слегка загрустил, сам себе в этом не признаваясь (лишь его тонкие усики слегка подрагивали), потому что вспомнил жену в те годы, когда она еще была бедной матерью-одиночкой, вспомнил сына, мальчика, называвшего его «дядей», — словом, перед ним прошла вся их семейная история, показавшаяся еще более трогательной в день, полный тревог и наивной суматохи перед отъездом — впервые в жизни — на настоящий курорт.

Что же касается матери и сына, очень друг к другу привязанных по причинам, которые уже названы выше, то они, удобно устроившись, наслаждались дорогой и три часа спустя (автобус выехал в шесть утра) увидели на горизонте холмы, скрывавшие отель. По правде говоря, сына немного тошнило, самую малость, но все же ощущение было настолько неприятным, что ему пришлось три раза сменить место. Наконец, после всех переходов от одного кресла к другому, он сладко задремал, но тут же проснулся, и его вырвало. Он почувствовал себя несколько лучше, однако предусмотрительно высунулся в окошко и, вдыхая полной грудью холодный воздух, стал смотреть в сторону

холмов: не показался ли отель.

Погода в этот день не отличалась постоянством: то небо затягивали черные облака, то всюду светило солнце; сперва вдали замаячили громады братских могил, и мать сказала: «Вот оно, кладбище». Затем автобус протиснулся сквозь облака, которые вплывали в салон и выплывали из окошек, и машина остановилась. Водитель произнес «кладбище, кладбище» — видимо, по привычке, потому что никого, кроме матери и сына, в автобусе уже не было. Он помог им опустить на землю чемодан, завел мотор, а потом автобус и его гул растворились в тумане.

Перед ними с широкой приветственной улыбкой появился управляющий отеля: на блестящих, набриолиненных волосах отчетливо проступали следы расчески. Он продолжал улыбаться и когда поднял чемодан; сделал всего несколько шагов, они очутились перед стеной отеля. Как, прямо у дороги, удивилась мать. Управляющий, окутанный туманом, разъяснил, что старая гостиница, изображенная на открытках, больше не существует, она была разрушена во время войны, однако в недалеком будущем предполагается начать восстановительные работы.

Они вошли в дом-башню, пересекли обеденный зал, служивший одновременно и баром, а оттуда поднялись в комнаты; на кроватях лежали свернутые матрацы. Управляющий несколько раз щелкнул выключателями, проверяя их исправность, пообещал тотчас же прислать горничную и ушел. Несколько минут спустя появилась белобрысая девочка с бесформенной, точно вырубленной из камня фигурой и в фартучке горничной. Мать и сын пошли каждый в свой номер, сын открыл окно и не увидел ничего, кроме старого бруствера, огражденного колючей проволокой, и почти отвесного утеса, достигающего до протянутого над ним подъемника.

Минут пять спустя, очень тепло одетые, они вновь вышли к дороге. Туча, что совсем недавно их встретила, теперь рассеялась, но над гостиницей уже нависли другие

облака, которые, казалось, только и ждут момента, чтобы спуститься вниз, в тесное ущелье, и поглотить мать и сына. Луг, зеленой полосой прорезавший листовничную чащу, тянулся к вершине холма, сплошь занятой братскими могилами и обелисками. По этой полоске передвигались, обмениваясь короткими фразами, человеческие фигурки: одна из них была черного цвета и как бы порхала в воздухе. Откуда-то из верхней части ущелья доносился быстрый перезвон козьих колокольчиков и медленный — коровьих. Мать и сын направились было к тем фигуркам, но облако, как будто извергнутое могилами, оказалось тут как тут и опустилось всей своей громадой им на головы — такое плотное, холодное, темно-серое, что им пришлось остановиться. Затем оно поплыло дальше, и они неожиданно оказались лицом к лицу с другими отдыхающими; состоялось знакомство. Это был приходский священник с четырьмя внуками и внучками, одна из которых, краснолицая, вся в веснушках и с большим букетом цикламенов в руках, бросила на сына красноречивый взгляд.

За обедом они познакомились с еще одной курортницей — девицей средних лет с мужеподобным лицом, в мужской одежде и наголо обритой. На плече ее сидел воробей, который, как и она, внимательно заглядывал всем в глаза. Женщина резко бросила вновь прибывшим:

— Не стоит так меня разглядывать, я перенесла тиф.

После обеда небо прояснилось, и мать с сыном отправились на прогулку до горы Фугацца. По дороге они увидели руины отеля — розовую грудку камня с черными опалинами, окаймлявшими окна в стиле либерти. Здесь они остановились, чтобы осмотреть остатки большого танцевального салона, разгромленного этими вандалами.

Ближе к вечеру, когда все собрались в обеденном зале-баре (снаружи моросил дождь), мужеподобная женщина сказала, что как раз в доме, где они сейчас находятся, в апреле сорок пятого партизаны обнаружили и расстреляли японцев, пытавшихся бежать в Германию.

Она испустила короткий смешок, похожий на лошадиное ржанье, и добавила, что ни тел убитых, ни их ценных вещей так и не нашли, вероятно, они и до сих пор лежат где-то здесь, поблизости. Подали ужин: жидкий суп на мясном бульоне, сыр и джем, полента и хлеб, по персику на человека. Мать сначала процедила что-то сквозь зубы, затем вдруг взорвалась и с какой-то детской озлобленностью накинулась на управляющего:

— Если у вас есть хоть какое-то понятие о правилах приличия, то лучше помолчите.

Управляющий молчал. Мужеподобная женщина, сидя за своим столом, глядела на нее, а сама то и дело подкармливала воробья, который склевывал кусочки прямо изо рта хозяйки, как будто целуя ее. Священник тоже посмотрел на мать, выражая ей свое одобрение и в то же время осуждение. Мать поднялась и пошла прочь из зала, стуча своими ортопедическими ботинками розового цвета.

Сын не знал, куда деваться: вышел было погулять с внучкой священника, но, хотя днем она бросала на него весьма красноречивые взгляды, сейчас ему было не до того. Он думал: «И здесь мне придется пробыть целый месяц! Я не вынесу!» Без церемоний оставив внучку, он убежал в свою комнату и начал остервенело молотить кулаками по стенке.

Ночью выяснилось, что одеял недостаточно, так как становилось все холоднее и холоднее. Позвали управляющего, и он принес еще несколько теплых пледов, однако глубокой ночью мать пришла к сыну, потому что заснуть ей не удавалось, хотя она вылила целый флакон одеколона на матрацы, отдающие плесенью. Она сказала сыну, что ей страшно грустно, и неожиданно расплакалась — «от разочарования». Всю ночь они думали, что же предпринять. Шептались и шептались, и постепенно настроение их изменилось. Они убеждали друг друга, что гостиница заказана на месяц, что «задаток» внесен, что «дядя» спокойно сидит себе дома с котом, что управля-

ющий в конечном итоге человек приятный, хотя и несколько неудачливый,— в общем наговорили много слов, серьезных и разумных, и все же чувства взяли верх.

Они сели в автобус в пять утра (чемодан показался сыну легким), мать, вскочив на подножку, поблагодарила управляющего и извинилась, сказав, что матрацы вызывают у нее аллергию. Управляющий взял ее за локоть, должно быть надеясь удержаться, и тут же пообещал принести другие матрацы.

— Нет-нет, у меня большое сердце, астма,— поспешно, лишь бы отделаться, ответила мать и, от души смеясь, зарылась в кресло автобуса. В эту минуту управляющий понял, что ничего не поделаешь, и, расстроенный донельзя, закрыл лицо руками. И тем не менее предпринял еще одну попытку, сказав: «Я немедленно напишу Марию» (так звали «дядю», мужа), но им было абсолютно наплевать, напишет он или не напишет Мария,— так хороша была жизнь.

АНТИПАТИЯ

РАЗДРАЖЕНИЕ

Однажды обыкновенный, хотя немного ленивый мужчина, который никогда не интересовался политикой, поскольку отнюдь не считал, как ни твердили ему об этом со всех сторон, что «всякий человеческий поступок суть политика», услышал телефонный звонок. Один звук его вызвал у человека смутное раздражение. В отличие от других людей, убежденных, что все можно логически объяснить, он, как правило, не пытался ничего объяснять и, возможно по причине своей лени, довольствовался тем, что принимал от людей и вещей сигналы, которые никакого объяснения не требовали, ибо уже заключали таковое в самих себе. К примеру, в тот день звонок телефона прозвучал раздра-

жающе, но в этом вовсе не следовало искать какой-то логической закономерности, нет, то была простая случайность, потому что в иных ситуациях тот же звонок доставлял ему удовольствие своими переливами; то чарующий, то фривольный, то двусмысленный, он часто предвещал приятный и дружелюбный разговор. Но, увы, в день, о котором идет речь, он в отличие от других дней звенел иначе — может быть, потому, что уже первый сигнал показался мужчине слишком длинным и несколько навязчивым, а может, и по другой причине: непрерывная трель означала, что человек на другом конце провода мог ждать сколько угодно с тем нахальным и дерзким упорством, которому неведом страх побеспокоить кого-то не вовремя. Что бы там ни было, но наш герой в этот момент испытывал чувство раздражения к тому, кто звонил.

В какую-то минуту он подумал, правда без особой уверенности, что звонивший опровергнет его предчувствие, но телефон все звонил, и мужчина неохотно пошел к аппарату. Услышал голос, показавшийся абсолютно незнакомым даже после того, как собеседник ему представился. На самом деле он прекрасно знал звонившего, но в тот момент начисто забыл и это имя, и тембр голоса. Звонил человек, о котором в то время многие говорили. Или, точнее, многие были убеждены, что, упоминая его в разговоре, доказывают и собственную значимость. И было у этого человека худощавое лицо, всегда крепко сжатые губы и быстрый взгляд, никогда подолгу не задерживающийся на собеседнике.

Называя нашего героя на «ты» (голос его при этом звучал очень мягко), звонивший тут же изложил суть дела: требовалось помочь нескольким испанским эмигрантам, боровшимся против режима Франко и в настоящий момент находившимся в Италии. Важный деятель сказал, что обратился к нему, как к человеку, «известному своими прогрессивными взглядами», в полном убеждении, что

тот не откажется внести свой вклад «в развитие революционных тенденций, утверждавшихся в соседней стране».

Все это тут же вызвало у ленивого мужчины раздражение, и причин тому было две: во-первых, он услышал слова, которые ему показались бессмысленными, во-вторых, считая себя несведущим практически ни в одном вопросе, он испытал зависть к чисто аудитивной способности собеседника воспринимать на слух и без всякого усилия воспроизводить слова, не только лишённые смысла, но и крайне трудно произносимые. Усилием воли отогнав от себя знакомое ощущение апатии, неизменно сопутствующее раздражению (более того — апатия была для него однозначна раздражению), он ответил, что отнюдь не считает свои взгляды «прогрессивными», поскольку вообще не интересуется политикой (звонивший тут же возразил, что «всякий человеческий поступок суть политика», и прозвучало это как прелюдия к тем длинным и нудным нравоучениям, от которых, к несчастью, не всегда удаётся оградить себя в жизни, но, уж во всяком случае, следует избегать их в телефонных разговорах). Потом ленивый мужчина сказал, что лично не знаком с указанными эмигрантами, и поскольку — он вновь повторил это — политикой не занимается, то и, как бы это сказать, не намерен вносить никакого вклада.

Последовала пауза, во время которой мужчина совершенно точно предугадал аргументы собеседника — они прозвучали несколько секунд спустя. Вот что было сказано:

— Послушай, ведь это типичная нелепица, неужто ты конформист, чтобы не сказать большего — фашист?

Предостережение, высказанное все тем же елейным голосом, скрывало явную надежду тут же услышать протест и раскаяние, однако ничего подобного не произошло; ленивый мужчина, заранее предвидевший такой оборот, ответил просто, даже покорно:

— Возможно, но я в этом ничего не смыслю.

Собеседник тем не менее продолжал:

— Тебе нужно обязательно показаться психоаналитику.

Он ожидал вопроса «зачем?», который так и не прозвучал — вместо него послышался протяжный вздох. Тогда важный деятель сменил тему, но не тон, проговорив:

— Послушай, давай встретимся как-нибудь вечером? Ведь мы совсем не видимся.

На что мужчина ответил, что собирается уезжать, и надолго.

— А когда же ты вернешься?

— Не скоро, очень не скоро — месяцев через пять, шесть, а может, и того больше, вот после возвращения — пожалуйста.

Еще некоторое время они обсуждали придуманную ленивым мужчиной поездку, тот, другой, долго и нудно выпытывал подробности маршрута и путешествия. Но в конце концов разговор иссяк.

Однако эти несколько месяцев прошли, и как-то мужчина, который начисто забыл обо всем, вновь услышал раздражающий звонок телефона, но, будучи в бессознательно-сонном состоянии, взял трубку. Это был «тот». Он просил о финансовой поддержке для палестинских партизан, находившихся здесь проездом. Получив такой же, как и раньше, отказ, он повторил слова, уже говорившиеся несколько месяцев назад, оценив равнодушие мужчины как «враждебное» и прибавив что-то о нежелании вести какой бы то ни было «диалог». Ленивый мужчина согласился, что он действительно не имеет никакой склонности к «диалогу», но объяснил, что дело — не во «враждебности», а в почти полном незнании предмета.

Прошло еще какое-то время, и он опять услышал раздражающий звонок телефона; однако и на этот раз, начисто забыв предыдущие разговоры, он со вздохом взял трубку. Правда, теперь он услышал женский голос, который просил его о моральной и материальной (имелась

в виду подписка) поддержке одного очень модного в те годы политического журнала. Ленивый мужчина произнес свой обычный рефрен и отказался. Потом он заметил, что погода прекрасная, светит солнце (дело было в восемь утра, в воскресенье), и осознал, что отказ его объясняется не только чисто умственными причинами, которые он, впрочем, «не анализировал», но и самой природой: воскресный солнечный день находился в откровенном противоречии и с этим неуместным звонком, и с годовой подпиской на журнал, выражавший мнение весьма ограниченной группы политических деятелей. Кроме того, женщина, хоть и была — надо отдать ей должное — очень немногословна, все же успела употребить термин «политическая платформа», а это определение тут же вызвало у него раздражение, так как напомнило ринг, на котором он видел однажды умирающего человека.

Как-то вечером ленивый мужчина оказался за ужином лицом к лицу с тем, другим, который — это было видно сразу — сгорал от желания затеять «дискуссию». Наш герой вздохнул: он не мог встать и уйти, место его было определено хозяйкой дома, а между тем он видел — или так ему казалось — за столом очаровательных женщин и достойных мужчин, наверняка интересных собеседников, от которых судьба его отделила. Тот уже начал говорить, но человек почти не слышал его, весь поглощенный беседой хозяйки дома с другими приглашенными — все они, к его великой зависти, смеялись. Он наблюдал за ними краешком глаза, до него долетали лишь обрывки фраз, но тяга к этим людям была столь велика, что губы сами складывались в улыбку; вино, прекрасное «брунелло», отличный ростбиф, который хозяйка приказала поставить в центр стола, с тем чтобы повар сверкающим ножом ловко отделил мясо от кости, тающее во рту яблочное суфле, бездонные черные глаза женщины, сидевшей далеко от него, в самом конце стола, а также ее легкий смех, журчавший как ручеек, — от всего этого

нельзя было не улыбнуться. Однако тот ничего не понял, напротив, он воспринял эту улыбку совсем в ином, не известном ленивому мужчине смысле, и по причинам, столь же ему неведомым, заговорил громко, чтобы привлечь внимание не только его, но, возможно, и других. Он сказал:

— Значит, ты, не допуская никакой альтернативы, предпочитаешь полковников...

Поскольку до слуха дошел только этот непонятный ему обрывок фразы, мужчина слегка встревожился и, готовясь ответить, подумал об армии и о воинских званиях. А на лице его все еще блуждала улыбка, хотя чувство, вызвавшее ее, было «чем-то», (чем — он не знал) омрачено; наконец он ответил, что, к сожалению, на военной службе не был и, следовательно, ничего по этому поводу сказать не может. Пока он произносил эти слова, им вновь овладела апатия, но, глянув тому в лицо, он внезапно, как в игре в шашки, понял, о каких полковниках идет речь: конечно же, о тех, которые как раз в тот период захватили власть в Греции. Но и это оказалось неверно: другой имел в виду итальянских полковников. Сдавшись перед лицом столь закоренелого невежества, тот, другой, смолк и, бросая вокруг себя хитрые и жадные взгляды, выпил глоток «брунелло», как будто это было обычное столовое вино, быстро и почти не глядя на еду съел ростбиф и суфле. Ленивый мужчина воспользовался этой краткой паузой, чтобы заговорить с женой «другого», сидевшей рядом. Он сделал комплимент по поводу старинной броши, прикрепленной к вырезу ее платья.

— Да, это старинная,— сказала женщина и, подняв пухлую, как у большой куклы, руку, показала кольцо из того же гарнитура, что и брошь.— Это все старинное,— произнесла она и тут же, будто устыдившись неизвестно чего, может быть того, что она считала непозволительной роскошью, добавила:— По случаю досталось.

И брошь, и перстень были действительно антикварны-

ми, однако не представляющими большой ценности вещами. И в глубине души он понял, что с той самой минуты, когда ей выпал этот «случай», бедная, плохо одетая женщина так и не освободилась от волнения, которое ощутила, впервые в жизни надев столь дорогие и, по ее понятиям, подходящие только для высшего общества украшения. Это искреннее волнение настолько его растрогало, что он даже несколько смягчился к вызывающему раздражение мужу. Он взглянул на него, и как раз в эту секунду «важный деятель» совершил немыслимое: он отправил в рот одновременно кусок суфле (вилкой) и огромный ломоть хлеба (пальцами), причем проделано это было, как показалось ленивому мужчине, нервно и в то же время жадно-униженно, причем и униженность, и жадность были такими древними, такими необратимыми, настолько исключали всякую надежду на перемены даже в далеком будущем, что ленивый мужчина, зная, сколь коротка наша жизнь, к великому своему облегчению, понял: человек этот не раздражает его более.

B

ПОЦЕЛУЙ
РЕБЕНОК
КРАСОТА
ДОБРОТА

BACIO
BAMBINO
BELLEZZA
BONTÀ

В один из летних дней ничем, кроме прекрасного греческого имени, не примечательная женщина лет пятидесяти проходила возле реки и, глядя на заросший высокой травой луг, на тополя у самой воды, вспомнила об одном поцелуе.

Ей было двадцать лет, ему тринадцать, и жили они в одном из древних итальянских городов. Мальчик очень сдружился с братом, а она его ни разу не видела, только слышала голос и по нему, сидя в своей комнате и занимаясь изучением бесконечно малых величин (в университете она считалась лучшей студенткой физического факультета), составила свое представление о нем. Он не вызывал у нее симпатии, друзья слишком много времени проводили вместе, к тому же игры Ахилла и Патрокла (брат был Патроклом, а ей хотелось, чтобы именно он был Ахиллом), полностью придуманные новым знакомым, казались ей странными и опасными. Как-то к ним домой зашла соседка и с возмущением рассказала о том, что они гуляют по крышам, лазают по деревьям в садах и так вот, перепрыгивая с крыш на деревья, добираются до громадных дубов, растущих в городском парке.

Брат целыми днями говорил о строительстве какой-то «*tavern of Jamaica*», для чего они целый месяц изготавливали миниатюрные кирпичи, оконные рамы и мебель, причем вся эта работа, как оказалось, была нужна лишь для того, чтобы однажды ночью, во время грозы, предать «таверну» огню и посмотреть, как она горит. Неизвестно почему, она предпочла бы, чтобы эта дружба кончилась и чтобы ей не пришлось никогда увидеть Ахилла. Но они все-таки увиделись на рождество 1943 года, несколько минут спустя после первой пережитой ими бомбежки: она, вся дрожа, входила в дом, а он как раз выбегал из него. Может, от страха, а может, от радости, что оба остались живы, они

обнялись, как люди, давно стремившиеся к этой встрече, и сразу узнали друг друга, хотя никогда раньше и не виделись. И все же она не смогла побороть свою антипатию к нему.

Шла война, вся ее семья поселилась на большой загородной вилле; Ахиллу и Патроклу пришлось расстаться — при этом не обошлось без рыданий и драматических сцен, — однако дружба оказалась столь прочной, что они нашли способ вновь встретиться: друг брата вместе с семьей тоже переселился в деревню, в крестьянский домик неподалеку от виллы.

Ребята выгуливали коней и мыли их, после обеда вместе спали на сене, обливаясь потом; на закате влезали на крышу, чтобы приручать павлинов, вечером сооружали корабль под названием «Марианна» (как в «Сандокане»*), которому после окончания работ и спуска на воду в одном из каналов было назначено подвергнуться обстрелу батареи пушек-лилипотов и затонуть. «Откуда эта мания созидать с таким энтузиазмом, а затем разрушать?» — спрашивала она себя, и этот вопрос рождал в душе подозрение, одновременно мрачное и радостное, о существовании чего-то такого, что не могли объяснить дорогие ее сердцу и столь ясные уравнения.

Но однажды утром она увидела мальчика в машине — его увозили в больницу, он был бледен и осунулся от боли. Она подумала, что его ждет смерть, поцеловала в лоб, а потом весь день проплакала, бродя по полям. Но он не умер (у него обнаружили какие-то смехотворные, но редко встречающиеся глисты), и она вместе с зареванным братом весело смеялась, отправляясь навестить его. Он выздоровел, и она вновь стала держать себя с ним высокомерно. Однажды она взглянула на себя в большое

* «Восставший Сандокан» — роман детского писателя-фантаста Э. Сальгари (1863—1911), «итальянского Жюль Верна», и сейчас очень популярный в Италии.

зеркало и в этот момент, поймав на себе взгляд мальчика, с невероятным изумлением почувствовала что-то похожее на тщеславие. От него это не ускользнуло (меж тем она, ошеломленная, покраснела), и мальчик без колебаний решил, что он тому виной.

У нее был жених, студент факультета военной медицины в Греции, они писали друг другу, и в семье говорили, что свадьба состоится, как только кончатся война и учеба. Ахилл выкрал эти письма и тайком прочел их, спрятавшись на конюшне в сене. Затем он вернул письма на место. Она видела его, укрывшись в тени своей комнаты, но ничего не сказала. Мальчик понял из писем, что, возможно, жених и любил ее, но она его не любила.

Как-то раз она попросила его помочь ей вымыть голову под фонтаном; мальчик вымыл и расчесал на солнце ее волосы, короткие, очень черные и густые,— сердце его билось учащенно, рука дрожала, и он, сгорая со стыда, подумал, что влюбился. Однако прежде всего необходимо было выяснить, что же такое любовь. И он, и она, независимо друг от друга, задавали себе этот вопрос. Сказать себе «это она» мальчику казалось невозможным, неточным и запретным. Для нее, ощущавшей при виде его беспокойство, уже очень близкое к радости, любовь была чем-то «серьезным», что должно прийти позже, после возвращения жениха с войны. Правда, она могла и сверкнуть как молния — неожиданно и неизвестно где.

К несчастью, любовь пришла — или ей так показалось — в облике молодого немецкого капитана с черными цыганскими глазами; он с грохотом подкатил к вилле и сообщил, что реквизирует здание. Затем появились солдаты, и семья перебралась во флигель, примыкающий к сеновалу. Немцы забивали еще не откормленных свиней, выпуская пули из револьвера прямо им в лоб. По ночам они кричали «Halt» и стреляли; несколько раз устраивали танцы, и она участвовала в них, надев шелковое плисси-

рованное платье, но мальчик не желал видеть ее. Однажды вечером она прошла мимо, шелестя юбкой; он спрятался в тень и затаил дыхание. Павлины покинули крышу виллы; девушка слушала их затихающие в ночи крики и думала о капитане (его звали Вернер), представляя, как он лежит на солнце, вытянув свое смуглое гибкое тело, в черных плавках, с пистолетом, прикрепленным к широкому поясу, и смотрит на нее, многозначительно улыбаясь. При виде этой улыбки на лице ее отражалось неизмеримое тщеславие, как тогда в зеркале, но в глубине души она знала, что сделает все, чего бы он ни потребовал. Это «все» произошло однажды после полудня, на току, где без умолку стрекотали цикады; вся в поту, она боролась, царапалась и с того дня стала другой, погрузилась, не смотрела больше на Вернера, который курил сигары и смеялся, а потом на три дня исчезла из дома, надеясь вступить во вспомогательные части «республики Салó»*. Однако ничего из этого не вышло, она вернулась, вновь увидела мальчика и с неудержимой радостью подумала: «Да что это со мной? Ведь он на семь лет моложе».

Ее родители неожиданно переехали в Милан, война кончилась, дружба между Ахиллом и Патроклом в то лето уже прошла свой пик: они простились и не виделись больше двух лет. Ахилл очень скоро выбросил все из головы и стал встречаться с девушками своего возраста. Она, вернувшись домой, тоже почти все забыла, но тем не менее они встретились, заговорили о том военном лете в деревне, как будто о чем-то очень и очень далеком. Обоим хотелось бы сказать что-то большее о тех днях, но они замолчали, чувствуя, что большего не скажешь.

* Марионеточная «республика», созданная Муссолини в 1943 году при поддержке и под контролем германских войск в Северной Италии после того, как южная часть страны была занята войсками союзников. Салó — городок на озере Гарда, где находились главные службы «нового» государства.

Это невысказанное «большее» привело к тому, что они стали встречаться все чаще по вечерам, и Ахилл, уже «взрослый» (ему исполнилось шестнадцать), возил ее на прогулки на раме велосипеда. Он узнал, что с женихом, возвратившимся из Греции, она рассталась. В тот год ей предстояло защищать диплом, они много говорили о вещах, казавшихся им крайне важными, и при этом она бравировала своим скептицизмом и рационализмом назло ему, всегда считавшему силу разума недостаточной, а порой и ничтожной. Он учился в первом классе лицея и много читал, она утверждала, что любит Гегеля (но это была неправда, она ничего не знала о Гегеле), а он отзывался о нем скептически; Марксом в то время молодежь не очень интересовалась, да и сведений не хватало, во всяком случае, они, вскользь затронув эту тему, оставили ее. Родители девушки придерживались фашистских взглядов, у него же дед был анархистом, и внук в целом разделял его убеждения. И все же фразу «собственность — это воровство», услышанную в самом раннем детстве, он вспомнил, но не произнес, потому что, даже если в этой фразе и была какая-то истина, ему казалось нечестным повторять ее.

Случилось так, что Ахилл вдруг «по уши» влюбился в одну «белокурую даму», на которую поглядывали все ученики лицея. Ему повезло, но того, что все одноклассники считали свершившимся фактом, не произошло. Не произошло потому, что, навещая «белокурую даму», он все время думал о другой — о ней, и ему становилось стыдно. А она тоже думала о нем и однажды увидела, как он выходит из дома «белокурой дамы» в вельветовых шортах, в теннисных туфлях и немного выгоревшей полотняной куртке голубого цвета на молнии.

Оба покраснели, она опустила голову, Ахилл в своих теннисных туфлях молча догнал ее, а она сделала вид, что ничего не заметила, но вдруг поняла, что то «большее», которое, казалось, невозможно высказать, было, по

сути, простым делом. Однажды она сказала:

— Между нами существует нечто большее, чем просто дружба.

А сама тем временем думала: «Неужели же это возможно? Ведь он на семь лет моложе, я — женщина, а он — ребенок».

Теперь во время прогулок они стали держаться за руки, и так продолжалось месяца два, а то и больше. Как-то вечером они лежали на траве под тополем, у самой реки, не разговаривая и не держась за руки. Ахилл говорил себе: «Сейчас я ее поцелую». Она думала, что он может ее поцеловать, и была готова, представляя себе, как все это произойдет. Но прошло более двух часов, tout était dans l'air*, и ничего не происходило: она, отвернув голову, жевала травинку и думала: «Конечно же, это невозможно, ведь он моложе меня на семь лет. И я не нравлюсь ему, потому что слишком стара». Но юноша повернулся и с силой, которая показалась ей неотвратимой, выдернул у нее травинку и прижал свои сжатые губы к ее губам.

ВАМБИНО

РЕБЕНОК

Ранным зимним утром один бездетный мужчина увидел в заиндевевшем кустарнике на берегу реки Пьяве ребенка с голубыми раскосыми глазами и старика, который держал в руках кривой садовый нож. Ребенок был большеголовый, в шерстяном беретике с помпоном, деревянных башмаках на высокой подошве и длинном шарфе, связанном из разноцветных полос. По виду он не походил на «современного» ребенка, и тот мужчина — словно жизнь сыграла с ним одну из своих шуточек, смешав его представления о вре-

* Все это витало в воздухе (франц.).

мени и месте,— увидел в этом ребенке самого себя, каким был сорок лет назад.

Ребенок заинтересовал его; к тому же луна стояла еще высоко в почти лазурном, потрескивавшем от изморози воздухе, словно побуждая мужчину остановиться и заговорить; старик сразу заметил сходство между ребенком и мужчиной и все пытался заставить ребенка сказать, сколько ему лет и как его зовут. Но тот упорно не открывал рта и лишь под конец, когда, казалось, никакие уговоры уже не помогут, вдруг, словно извиняясь, улыбнулся, безмятежно и просветленно, как некоторые очень древние старцы.

Наступило лето, и мужчина вновь увидел ребенка в тех же местах, на только что выкошенной лужайке среди кустарника. Ребенок, заметив его, улыбнулся, как тогда, но сразу же спрятался за валки сена, пополз на четвереньках по сему и по не скошенной еще траве и ускользнул. Мужчина долго глядел в ту сторону, где время от времени мелькали плечи цвета меда и белое канотье, но стоило ему подойти поближе, как ребенок исчез в густом лесу.

Мужчина все чаще думал о ребенке, наконец навел о нем справки и выяснил, что он — незаконнорожденный сын одной крестьянки; постепенно мужчина свел знакомство со стариком, а потом — и со всем семейством, людьми очень недоверчивыми и вечно попадавшими в какие-то «сомнительные» ситуации. Во время этих посещений он лишь мельком видел ребенка (тот всякий раз убегал), но узнал о нем многое, например, что ребенок боится похитителей и разговаривает во сне с неизвестными людьми.

Однажды он позвал ребенка к себе, чтобы поручить ему несложную работу, и обещал маленькое вознаграждение. Надо было ошкурить наждачной бумагой только что вытесанные скамейки и потом натереть их олифой. Ребенок проработал полчаса с большим увлечением, потом — все медленнее и неохотнее и, наконец, вовсе бро-

сил. На вопросы мужчины он не отвечал и, как только тот вошел в дом, исчез.

Но с того дня он стал вертеться возле дома и даже иногда выговаривал односложные слова — этого было достаточно, чтобы мужчина узнал в голосе ребенка свой собственный голос. Как-то ночью была сильная гроза, которую мужчина, спавший глубоким сном, не услышал: ему снился ребенок в шотландских бриджах и белой шляпе; он шагал по воде. Поскольку ребенок не решался произнести ничего, кроме «да» и «нет», мужчина в беседах с ним прибегал к помощи матери и деда. При их посредничестве он не только узнавал новое о ребенке, но и рассказывал ему о своих путешествиях. Видя, что путешествия мальчика заинтересовали (он знал только те места, где родился и жил), мужчина задумал свозить его в Венецию; через своих посланников он сообщил ребенку об этом намерении. Ребенок передал мужчине, что он согласен, но с условием, что он сможет, вопреки запрету матери, купаться в море, иначе он не поедет.

Отправились они в субботу утром (накануне ребенка немного лихорадило, и он проснулся в пять часов). Они доехали на машине до венецианского аэропорта, где их ожидал катер. Ребенок смотрел, как огромные самолеты садятся и взлетают с этого клочка земли, но не произнес ни слова. В катере он вцепился в борт и, вытянув шею, смотрел на вздымавшиеся по обе стороны большие водяные крылья. Потом он продрог и повернулся к мужчине со своей молчаливой всеведущей улыбкой. Мужчина спросил, не озяб ли он; тот ответил:

— Немножко,— это было первое, что он сказал за всю поездку.

Мужчина прикрыл его своим пиджаком и притянул к себе, и ребенок время от времени взглядывал на него, чуть приподнимая уголки своих нежных губ.

Они сошли на Лидо и направились по аллее к пляжу; по дороге купили в булочной свежего хлеба и два куска

слоеного яблочного пирога, потом зашли в колбасную за ветчиной для бутербродов. Тут мальчик потянул мужчину за рукав и сказал:

— Жареной картошечки.

Мужчина купил ему два кулечка, они сложили покупки в небольшую пластиковую сумку и двинулись на пляж, где заняли кабинку в первом ряду с лежаком и шезлонгом. Они разделись и пошли в сторону дамбы, шагая по песку среди загорающих. Мужчина заметил, что у мальчика худенькие спина и плечи, ровные, как столбики, ножки и большие ступни с крупными пальцами. Ходил он немного враскачку, как звереныш, ориентирующийся по запаху; и все же была в нем какая-то легкая грация, и каждое неожиданное движение (например, когда он падал в песок на колени) предварял своей медленной и долгой улыбкой, обращенной вдаль, к горизонту.

На дамбе, над которой развевались большие голубые флаги, мужчина посоветовал ребенку крепче держаться за канат, пока он поплавает, затем картинно прыгнул с трамплина, подумав, неизвестно почему, что ребенку это должно понравиться. Тот смотрел на него сверху и следовал за ним по дамбе, пока мужчина не доплыл до берега. Устыдившись своего прыжка, он предложил ребенку выкупаться, но тот отказался; потом он мало-помалу привык и стал заходить в воду, но не глубже, чем по щиколотку.

Мужчина уговаривал его окунуться разом, показывая на других детей, гораздо меньше него, которые это делали, но у ребенка, видимо, не хватало духу, от страха он совсем съежился. Тогда они пошли гулять по пляжу, разговаривая на ходу (мужчина объяснил, как пользоваться спасательным кругом), и вскоре остановились возле лодки, где служители купален продавали большие и малые раковины. Мужчина поднес одну из них к уху ребенка, чтобы тот послушал гул моря,— чем больше раковины, тем сильнее шумит,— и предложил ему выбрать одну для себя. Ребенок задумался, потом ответил «да» и указал на самую

большую. Мужчина, словно повторяя чужие слова, объяснил, что эта раковина слишком дорого стоит, и они продолжали свою прогулку. Внезапно ребенок спросил:

— А можно мне спасательный круг?

— Тебе хочется спасательный круг? — спросил мужчина.

Мальчик опять ответил «да»; мужчина пообещалкупить, а пока что одолжил круг в соседней кабине у очень любезной дамы, окруженной целым выводком малюсеньких детей в голубых халатиках с вышитыми на них инициалами.

Они вернулись к воде со спасательным кругом в виде гуся, и мужчина завел ребенка на глубину, так что тот уже не мог достать дна. Ребенок дрожал от холода и страха и говорил, стуча зубами:

— Боюсь, боюсь, холодно, холодно,— но при этом смеялся (мужчина еще ни разу не слышал его смеха).

Он цеплялся за руки мужчины, который учил его бить по воде вытянутыми ногами, и чувствовал, как дрожат крепко ухватившиеся за него маленькие напряженные ручки.

— Вернемся, вернемся,— просил мальчик, стуча зубами, но когда они вернулись к берегу, задержался у воды и пустил своего гуся поплавать, а затем посвистеть.

Был час дня; они вынули из сумки свои бутерброды и поели. Мужчина заметил, что ребенок не подносит хлеб ко рту, а наоборот, наклоняет голову к хлебу и все оглядывается по сторонам, словно прячась от чужих глаз. Съев первый кусок яблочного пирога, он серьезно сказал:

— Очень вкусно,— и спросил: — А мороженое?

— Мороженое будет в Венеции, попозже, так много сразу есть вредно,— ответил мужчина, в точности повторив слова, сказанные ему на этом самом месте много лет назад.

За короткое время мальчик два или три раза спрашивал: «А мороженое?» — и мужчина отвечал все той же

фразой; потом уснул. Он частенько просыпался, беспокоясь, как бы ребенок не зашел один в воду или еще в какое-нибудь опасное место, но увидев, что тот вертится возле лежака, снова засыпал. Проснулся он около четырех; они оделись, «поблагодарили синьору» за спасательный круг, прошли по аллее (ребенок рассматривал красочные щиты с рекламой различных сортов мороженого) и как раз успели на пароходик до Венеции. Сидя на верхней палубе в тени, ребенок заметил:

— Вот где прохладно-то,— а когда увидел греческий океанский лайнер, удивился: — Дева Мария, да ему конца нету!

Как только они высадились в Венеции, мужчина показал ребенку Мост Вздохов, тяжелые решетки тюрьмы «Пьомби» и рассказал о бегстве Джакомо Казановы из этой темницы. Подняв ребенка на парапет одного из мостов, чтобы тот поглядел на гондолы, он объяснил ему, что в этом городе нет ни автомобилей, ни мотоциклов, ни велосипедов, а нужно идти пешком или ехать на лодке. Ребенок слушал, сжимая в руках влажный узелок с купальными трусами. Потом они зашли в собор святого Марка.

— Видишь, тут пол волнистый? — сказал мужчина.— Это потому, что внизу под ним — море.

Они поднялись на колокольню, мужчина показал канал Святого Марка, освещенный солнцем; как раз в тот момент туда входил сверкающий, белоснежный японский танкер с развевающимся по ветру флагом — красный круг на белом поле. Потом мужчина показал ребенку огромных бронзовых «мавров», которые каждый час бьют в большой колокол.

Когда они спустились с колокольни, ребенок спросил:

— А можно мне фотоаппарат?

Мужчина покачал головой, сказав, что это слишком дорого. Но ребенок подбежал к киоску с сувенирами и показал на «фотоаппарат» — маленькую пластмассовую ко-

робочку с цветными диапозитивами Венеции. Мужчине стало стыдно, и он купил эту игрушку. Потом они уселись в кафе «Флориан» и заказали мороженое — шарик сливочного, шарик шоколадного и два шарика фисташкового в серебряной чаше. О площади мальчик сказал «очень красивая», о мороженом — «очень вкусное». Покончив с мороженым, он спросил:

— А можно мне корма для голубей?

Мужчина, все еще немного стыдясь (хоть и не был виноват) за случай с фотоаппаратом, спросил ребенка, не хочет ли он сфотографироваться.

Они снялись вместе с голубями, которые клевали у них из рук: мужчина, прищурясь от слепящего солнца, ребенок, приоткрыв свой маленький рот, расширив миндалевидные голубые глаза и улыбаясь, будто ему, и не подозревавшему об этом, были ведомы судьбы людей.

BELLEZZA

КРАСОТА

Каждый день этот деревенский старик выходил из дома с серпом и тележкой. В кармане он держал трубку с кистом для табака, коробочку для спичек, сделанную из бамбука, и кривой, очень острый нож. К поясу у него был прикреплен бычий рог, внутри которого, в воде, лежал камень — править серп.

Летом для него, как и для всех крестьян, наступала горячая пора: надо убрать траву вдоль ручьев, подготовить края лугов для работы механической косилки, выполоть крапиву и осот на винограднике, разбросать сено на солнце или же собрать его в небольшие копны, а затем вилами погрузить на тележку и отвезти домой. Но поскольку он был очень стар, ему приходилось часто останавливаться — он усаживался на землю и курил.

Зимой он выходил попозже, неизменно с серпом и тележкой — по привычке, а может, надеясь на что-то. Правда, в это время года он брал с собой еще секатор для обрезки лозы и огромный нож для заготовки ивовых прутьев, а иногда прихватывал и мотыгу: если где-то торчала коряга, он выкорчевывал ее (на это уходил целый день, а то и два), очищал от земли и укладывал на тележку. Зачастую ему одному это оказывалось не под силу, и он сидел до самого вечера, ожидая, что кто-нибудь придет ему на помощь, но в тех местах никто никогда не проходил.

Однажды появился какой-то рыбак, старик видел, как он ставил в илистой канаве сеть на угря; раза три он подавал ему снасти, но так и не осмелился попросить, чтобы тот помог ему погрузить пень, а рыбак был слишком озабочен своим делом и потому ни о чем не догадался.

Тогда-то старик и подумал, что, если взять веревку, он и сам справится.

Иногда в зимние туманные дни он ничего не находил в полях, и ему только и оставалось, что собирать хворост, но эта работа удовлетворения не приносила. Когда шел снег, он также выходил из дома, правда, настроение у него сразу портилось, он возвращался назад, укладывался в постель, и в отличие от большинства стариков мог спать подолгу.

Одежды у него было мало: пара брюк из сурового синего полотна, шерстяной пуловер, рубашка в клеточку и ботинки с парусиновым верхом и веревочной подошвой — на лето; на зиму — суконные брюки военного образца, толстый свитер, куртка, доставшаяся ему от одного помещика, умершего в сороковом году, ботинки и пальто. Еще была фетровая темно-зеленая шляпа и кожаный пояс — на все времена года. По воскресеньям он надевал серо-голубой костюм, белую сорочку без галстука и носки.

Он до ужаса боялся болезней и не знал грамоты,

а посему прикидывался робким, хотя таковым на самом деле не был. Напротив, в глубине души он даже гордился тем, что не умеет ни читать, ни писать, хотя и отдавал себе отчет в определенной значимости этих вещей. Если ему приходилось с кем-нибудь говорить, когда обстоятельства просто вынуждали его, он обращался к собеседнику не иначе как «хозяин», «синьор», «молодой синьор» и приветствовал его словами: «Дай вам бог здоровья!» Но по возможности старик избегал встреч, укрываясь за кустами или за кучами навоза, причем делал это бесшумно и очень осторожно. Спрятавшись, он разжигал трубку, и из листвы или из-за навозной кучи тянулась струйка дыма. Он дожидался, пока встречный пройдет, затем снова поднимался на ноги, собирал свои инструменты и пружинистым шагом уходил прочь.

Конечно, у старика была семья: три сына, три дочери и жена. Один сын уехал в Америку, другой — неженатый — жил с отцом (весной, в лунные ночи, он бродил по лугам и распевал песни), у третьего был огромный грузовик с прицепом, на котором он колесил по Италии, а когда возвращался, машину ставил прямо перед домом. Две дочери вышли замуж и уехали из деревни, а третья осталась, прижила неизвестно от кого троих детей и имела одну скверную привычку — грязно ругаться по всякому поводу.

Семья бедствовала, особенно туго было с дровами, но в последнее время, благодаря заработку сына, разъезжавшего на грузовике, дом перестроили, появился душ и туалет, холодильник, стиральная машина, телевизор, но старик ничем этим не пользовался, так как почти не бывал дома, и никакие события в мире его не интересовали.

Кроме своей деревни, он нигде не бывал — лишь однажды уехал из дома на велосипеде, заблудился и на рассвете попал в местечко под названием Порто-Буффолé. Услышав это название от местных жителей, он испу-

гался, решив, что выехал на морское побережье, и поспешил прочь. Остановился он на крутом мосту и огляделся вокруг: воды не было — ни моря, ни порта; вокруг простирались луга, и он различил множество трав, уже убранных или подготовленных к покосу; небо на горизонте было залито зеленоватым грозовым светом. Может быть, эти луга и тянулись до самого моря, однако вдали виднелась лишь остроконечная покосившаяся колокольня, попавшая в полосу дождя. В какой же стороне море и порт? Этот вопрос так и остался без ответа, но частенько, усевшись в поле покурить, он думал о Порто-Буффоле.

Летом старик присматривал подходящие ветви деревьев, помечал их, а когда спадала листва, изучал повнимательнее и делал окончательный выбор. Зимой он срезал эти ветви, в течение года выкладывал их сушиться на солнце, а затем медленно счищал кору ножом: только на одну ветку порой уходил целый день. Планы на предстоящую зиму старик строил года за два-три. Сначала сортировал ветки по размерам, не забывая и о породе дерева (ива, акация, шелковица, вяз, редко — тополь), а затем уже переходил к предметам, которые следовало изготовить (лестница, ручки для вил, ворота), и лишь после этого шел на конюшню и приступал к работе.

Старик постоянно следил за колоколами: как только они начинали звонить, он останавливался, прислушивался и сразу же по звучанию угадывал, о какой церемонии идет речь. Если это была «Ave Maria», он немедленно убирал весь инструмент и, усевшись в поле или на конюшне, раскуривал трубку, пытаясь догадаться, кто из стариков помер. Курил он, поджав под себя одну ногу, облокотившись локтем о землю и прикрыв глаза, всегда обращенные к солнцу.

Старик не любил ни охоту, ни рыбную ловлю: зная наперечет всю живность в округе и повадки зверей, он тем не менее предпочитал видеть их живыми. К фаза-

нам он приближался очень медленно, затем надувал щеки, свистел и стучал ногами — в эти минуты его длинные черные усы поднимались кверху, и перепуганные птицы улетали прочь, крик застревал в их длинных зеленых гортанях, а старик смеялся. Удодов дразнил, приставляя пальцы к макушке, как бы изображая надменно задранный хохолок. Если была нужда, он умел коптить ласок и барсуков, которых ловил мешком из бараньей кожи. Несколько раз ему удалось видеть лису. Однажды зимой он заметил ее след и шел по нему целые сутки; лиса знала, что за ней следят, и, если старик (тогда он был молод) терял ее из виду, поджидала в темноте, сверкающими глазами показывая ему дорогу. Таким образом она довела его до самого подножья холмов. На рассвете он неожиданно обнаружил лису прямо перед собой: она лежала на снегу, демонстрируя всю красоту свободного дикого зверя; в глазах лисы поблескивали искорки одиночества, и старик даже почуял ее запах. С чувством собственного превосходства лиса приподнялась на задних лапах (она была так близко, что старик увидел ее зубы), а потом запрыгала высоко, как будто летя между снегом и солнцем, и исчезла. Старик подождал — больше она так и не появилась — и спустился в долину. Вечером, когда жена принялась допытываться, где он пропадал два дня, старик отмахнулся: «Да помолчи ты, помолчи» — и загасил свечу.

Вот уж лет десять, как старик начал задумываться о смерти и внимательно прислушивался к себе и ко всему, что его окружало, стараясь уловить те приметы, которые, как он прекрасно знал, ее предвещают. Но, сколь ни усердствовал, он не замечал ничего особенного. Вот почему он каждый день выходил из дому с серпом и тележкой и в минуты отдыха строил свои планы. К примеру, обдумывал, стоит ли очистить виноградник, или, может, вообще вырубить его, а на этом месте посеять одну траву. Он думал, что в его, скажем так, отсутствие ви-

ноградник погибнет без ухода, а трава — нет. В конце концов старик принимал половинчатое решение: проредить шпалеры через одну. Он все пересчитывал их, ошибаясь и начиная сначала.

Возле деревьев он забывал о винограднике и думал о том, что надо бы спилить и продать деревья на дрова, потому что, если обрезать на определенной высоте, они дают новые побеги. Если же он усаживался у кукурузного поля, то ему приходило в голову, что после сбора урожая эту землю надо распахать и посеять или пшеницу, или целебную траву. Лучше бы, конечно, траву, размышлял он, посмеиваясь в душе, так как из всех своих проектов неизменно предпочитал те, в которых требовалось косить.

Садясь на землю, он стаскивал пуловер, надевал рубашку, которая лежала в тележке или же висела на дереве; время от времени он выжимал пуловер, мокрый от пота, потом впадал в состояние, близкое ко сну, но, заподозрив это, тут же встряхивался и возвращался к делам. В те вечера, когда грузить было нечего, он прятал тележку и серп за каким-нибудь кустом, из-за другого куста вынимал палку и, опираясь на нее, возвращался домой.

ВОНТА

ДОБРОТА

В один из сентябрьских дней 1941 года полная блондинка в сопровождении десятилетнего мальчика, одетого в сутану, ожидала на станции Кортина д'Ампеццо поезда с голубыми и белыми вагончиками, который должен был подойти из Доббиако. Они одиноко стояли на платформе, рядом с ними был чемодан, авиамодель из бумаги с большими желто-синими крыльями и мандолина в чехле из грубого полотна кофейного цвета. Оба молчали, облитые лу-

чами холодного безветренного света. Подошел поезд, и они собирались войти в вагон, как вдруг из дверей вокзала выскочила молодая женщина, одетая в черное и в черной шляпе, на бегу наступила на мандолину и проломила ее.

Услышав треск разбитой мандолины, блондинка испустила вопль и набросилась на молодую женщину, которая инстинктивно закрылась рукой.

— Умберто, посмотри на мандолину! — крикнула блондинка мальчику, успевшему войти в вагон.

Тот высунул голову в окно и молча вытаращил глаза.

— А теперь платите за это, — сказала блондинка, пытаясь взять себя в руки и говорить сдержанно.

Услышав: «платите», молодая женщина в черном очулась от внезапного испуга, вытщила ногу из мандолины и кинулась к отходившему поезду. Но толстушка-блондинка не отставала, крепко ухватив женщину и повторяя: «Карabinieri, carabinieri, остановите поезд, остановите поезд!» Тут раздался свисток, поезд тронулся, и толстушке тоже пришлось вскочить в вагон. Она по-прежнему не отпускала вырывавшуюся женщину в черном и заставила ее сесть рядом с собой и мальчиком.

— Ну, давайте сочтемся: вы ее сломали и должны заплатить, — сказала блондинка свистящим голосом, задыхаясь от бешенства.

— Нет, — пролепетала женщина и снова загородилась рукой.

— А вот и заплатите.

— Нет, — повторила женщина в черном и подкрепила это «нет», отрицательно покачав головой.

— Еще как заплатите, — прошипела толстушка.

Женщина сделала вид, что не слышит. Очень бледная и худая, она была одета в черное шелковое платье с кружевами, серые чулки и маленькие черные мужские ботинки, начищенные до блеска. По виду она могла быть компаньонкой какой-нибудь богатой графини или домо-

правительницей состоятельного священника. Лицо ее дрожало (у нее были голубые, совсем выцветшие глаза), но по нервной бледности и по сжатым, побелевшим губам было видно, что платить она не собирается.

— Кто ломает, тот и платит,— сказала блондинка, которая, увидев бледность, дрожь и бескровные губы женщины в черном, приняла насмешливый тон. (На светловолосой толстушке было яркое, пестрое платье и сандалии на высокой пробковой подошве.)

Мальчик нервничал, видя свою спутницу в таком гневе, и вертел в руках чехол с раздавленной мандолиной.

Женщина в черном еще плотнее сжала губы и несколько раз отрицательно помотала головой.

— На первой же станции мы сойдем и позовем карабинеров,— сказала блондинка еще более язвительно.— Не заплатите — сядете в тюрьму.

Женщина в черном опять отрицательно качнула головой, но у нее задрожал подбородок.

Наступило долгое молчание; толстушка с беспощадной жестокостью (так, что у нее даже глаза стали косить) уставилась на женщину в черном, которая пыталась отвести взгляд. Но блондинка протянула свою крепкую, мясистую, усеянную веснушками руку и двумя пальцами с облупившимся розовым лаком на ногтях ухватила женщину за подбородок, заставив ее вздернуть голову.

— Смотрите людям в глаза,— сказала она, буравя ее пристальным взглядом.

Молодая женщина продолжала отводить взгляд, и наступила новая пауза. Тень очень холодного облака, предвещавшего конец лета, вползла в полуоткрытые окна, остудила кожу трех пассажиров, дохнула на них зимним холодом. После паузы женщина, которой это ощущение холода передалось, быть может, меньше, чем остальным, почти беззвучно спросила:

— А сколько стоит мандолина?

— Она стоила сто двадцать лир,— ответила блондинка

уже не так громко и без насмешки в голосе.

— Ууу,— с сомнением произнесла женщина.

— Не верите?! — вновь вознегодовала блондинка.

Женщина не ответила и, все еще очень бледная, стала смотреть на горы, отдалявшиеся в солнечном блеске. Там выпало немного снега, и ветер, разгулявшийся в вершинах, взметнул этот снег в голубизну неба. Донесся звон воскресных колоколов.

— Позовем карабинеров в Калальцо,— сказала блондинка мальчику-монашку и, не глядя на женщину, добавила: — Негодяйка, смотри, во что превратила мандолину.

Мальчик ничего не сказал, но, как бы демонстрируя состояние мандолины, вынул ее из полотняного чехла и поднял инструмент повыше. Блестящая пузатая дека была проломлена в середине, а разбитый гриф свисал, словно куриная шея. Из чехла вывалились ноты с надписью: «Макариолита».

Увидев мандолину в таком состоянии, женщина в черном долго смотрела на нее недоверчивым и отчаянным взглядом, словно только теперь поняла, какой огромный, непоправимый ущерб она причинила. Она еще больше побледнела, и подбородок опять задрожал. Высохшими бледными пальцами домашней хозяйки она сжала потертую сумочку из черной кожи.

— Я могла бы дать пятьдесят лир.— Она открыла сумочку, достала матерчатый кошелек на молнии и вынула пятьдесят лир серебряными монетами по пять лир.

— Я сказала, извините, что мандолина стоит сто двадцать лир,— возразила блондинка. Победа внезапно утихомирила ее, и голос звучал спокойно, хоть и немного надменно, при этом она улыбнулась.

— Она подержанная,— сказала женщина в черном.

— Кто ломает старое, платит за новое.

Женщина вынула из кошелька бумажку в десять лир и еще одну монету в пять лир. Было видно, что в кошельке уже почти ничего не осталось.

Блондинка только с сожалением прищелкнула языком. Женщина опорожнила свой кошелек: там было еще пятнадцать лир, то есть всего набралось восемьдесят.

— Это все, что у меня есть,— сказала она,— хотите заявить на меня — заявляйте.— Она посмотрела на исчезающие вдаль горы и протянула деньги на ладони.

Блондинка пересчитала их и отдала мальчику, одетому монашком. Тот сначала отрицательно замотал головой, но потом взял деньги и зажал в руке.

— Положи их в карман, глупый,— сказала блондинка, и только тогда мальчик подобрал свою сутану и засунул деньги в карман коротких штанов.

После недолгого молчания женщина сказала:

— Но мандолина теперь моя.

Блондинка взяла у мальчика мандолину и передала женщине, положившей ее себе на колени. Так прошло еще около получаса. Женщина смотрела то на вновь показавшиеся горы, то на сломанную мандолину (теперь ее собственную) с болтающимися струнами. Потом она повернулась к мальчику и сказала, отдавая ему мандолину:

— Что мне с ней делать, возьми ее, я не умею играть на мандолине, даже если ее можно починить, я все равно не умею, я никогда ни на чем не играла.— И с этими словами беззвучно заплакала.

Вынув из кармана белый платочек с монограммой, она вытерла глаза, а когда платочек намок, стала утираться своими высохшими, как у старушки, пальцами. Время от времени она безутешно встряхивала головой. Мальчик никак не хотел брать мандолину, а она во что бы то ни стало хотела ее отдать, и они несколько раз передавали друг другу сломанный инструмент. Наконец он положил мандолину на багажную сетку над головой женщины.

— Можно узнать, отчего вы так плачете?

Женщина сквозь слезы только покачала головой.

— Можно все-таки узнать? — повторила блондинка.

Но женщина в черном все не отвечала, и той долго

пришлось допытываться. Наконец женщина ответила:

— У меня было всего-навсего восемьдесят лир, видно, господь хотел меня наказать.

Спустя еще какое-то время настали сумерки, поезд шел теперь по долине: над крышами поднимался дым, проникший в вагон вместе с запахом поленты. Поезд остановился у темного каменного здания, из трубы на крыше летели искры, а на широкой, выбеленной известкой полосе было написано: **«Верить, повиноваться, сражаться. Муссолини»**. Но в синеве наступающей ночи буквы были почти не различимы.

— Чем вы занимаетесь? — спросила блондинка, чтобы рассеять замешательство.

— Починкой и штопкой, — ответила женщина. Она теперь смирилась и, казалось, была уже не прочь поболтать.

— А где живете?

— В Бассано-дель-Граппа.

— Но поезд-то идет в Венецию, — заметила блондинка, теперь совершенно спокойная и любезная.

— Я еду к своей сестре-монахине в Венецию, — объяснила молодая женщина.

Уже совсем стемнело, и трое пассажиров еле видели друг друга в свете синих лампочек, но авиамодель из глянцевого бумаги поблескивала меж двух сидений.

— Отдай деньги синьоре, — сказала мальчику блондинка.

Мальчик сейчас же сделал это, женщина взяла их, повозившись со своей сумочкой, закрыла молнию.

— Спасибо, я помолюсь за мальчика. Ты уже дал обет?

— Да, — сказал ребенок.

— А кому?

— Святому Антонию Падуанскому.

— Святой Антоний Падуанский — хороший святой, — сказала женщина. — Я-то привержена святому Франциску Ассизскому, но знаю, что святой Антоний Падуанский — очень хороший святой.

C

ОХОТА
ЛАСКА
ДОМ
КИНЕМАТОГРАФ
СЕРДЦЕ

CACCIA
CAREZZA
CASA
CINEMA
CUORE

Однажды в ноябре задолго до рассвета некий молодой еще мужчина сидел в маленькой лодке на болоте, затерявшемся в полях под Венецией; небо было чистое, в воде отражались звезды, небольшие стаи уток пролетали в сумерках к морю, и он подумал: «Скоро будет светать», но в ту же минуту он почувствовал, как мысль эта покидает его, отправляясь вслед за утками.

Какое-то время он смотрел на ружье (двустволка, сделанная в Римини в 1942 году) и, даже не различая его очертаний, представлял его по памяти — таким, каким видел ежедневно. Он подумал: «Мне нужен "Purdy" в юфтевом футляре с серебряной монограммой и со всеми атрибутами для чистки. Он стоит большие деньги, но ведь жизнь так коротка». И пока он размышлял, на востоке появилась тончайшая полоска цвета серы, задрожали тростниковые заросли, окружавшие маленькую лагуну, и легкий, но очень холодный ветер ласково прошелся по его щеке. «Вот и заря,— подумал он,— впрочем, скорее, рассвет (как прекрасно это слово), который предшествует Авроре». Он услышал пролет других невидимых уток, и эта последняя мысль также понеслась за птицами. Человек ощущал радость оттого, что мысли вот так просто покидают его; он не искал тому причины, а воспринимал мысли как нечто преходящее и зачастую, проснувшись в такой ранний час, говорил себе: «Возможно, я проживу еще двадцать, может быть, тридцать, может, сорок лет, а потом жизнь кончится, но все иллюзии на этот счет рассеялись еще несколько лет назад, и я не знаю, как быть дальше. Хочу "Purdy",— вновь твердил он, словно упрямый ребенок.

Полоса цвета серы уже поднялась над камышом, и окраска ее изменилась: в верхней части еще преоблада-

ли грязно-желтые тона, но пониже появились розоватые блики, и «наш герой» долго смотрел на эту игру красок с восхищением, робостью и признательностью — так глядят на очень любимую и далекую женщину.

В этот момент позади себя он услышал шум крыльев, колыхнулся воздух в нескольких сантиметрах от его головы, и утка, радостно крикая, опустилась совсем рядом с ним, в том месте лагуны, где вода отражала разноцветье рассвета и тень камышей. Он вскочил на ноги, утка, заметив — слишком поздно — его присутствие, быстро взлетела, но, когда она рассекала струю восходящего солнца и была так далеко, что, казалось, ее уже не настичь, охотник выстрелил; птица, вытянув лапы, упала вниз; в какую-то минуту можно было подумать, что она еще сможет взлететь — хлопая крыльями и теряя перья, она поплыла к камышу, попыталась расправить крылья, чтобы подняться в воздух, но не сумела и бессильно свесила голову в воду. Лишь тогда он увидел, что это — водяная курочка, пожалел ее, и к нему вернулись мысли о скоротечности жизни.

«Гречальная, загнанная птица, — подумал он, — воспетая шумной толпой поэтов, ни разу не выдавших ее, словно молодой, бледный и малопривлекательный лорд в темно-серых перчатках (от Уиллоуби) на похоронах. Она все еще верит в жизнь, несмотря на рану, плывет, теряет перья и ищет корм. Но и она заблуждается». С этими мыслями он выстрелил еще раз, чтобы прикончить курочку, но дробь пролетела дальше, он выстрелил в третий раз и вновь промахнулся, а птица между тем уплыла, оглашая окрестность своим гортанным криком.

Мужчина сел, немного погодя почувствовал, как где-то в вышине воздух прорезала огромная стая диких уток, и увидел птиц, спокойно летящих в зелено-розовом небе в сторону юга. Он попытался сосчитать их, но они быстро растворились вдалеке.

На востоке, среди камышей, появилось солнце; та

часть неба, которая до этого была окрашена в розоватый цвет, стала ярко-оранжевой, как переспелый апельсин, а первые лучи на изломе загорелись раскаленным и дымящимся железом («Горб, яма», — подумал он). Небо сразу над красным ореолом осветилось зеленью и голубизной, а вокруг все еще преобладали голубовато-фиолетовые тона, и лишь в западной сфере оставалось что-то от синевы ночи, озаренной редкими звездами.

Высоко-высоко пролетела и тут же скрылась еще одна стая уток, но ему показалось, что он услышал их крики и шум крыльев, хотя птиц уже не было видно.

«Какая привязанность друг к другу, какое торжество жизни! — подумал он. — Как тут не вспомнить епископов из собора Святого Петра с их митрами и песнопеньями».

А солнце падало уже на края лодки, согревая и окрашивая ярким румянцем щеки мужчины, и он подумал: «Я хочу получить от жизни все. Прежде всего мне нужен "Purdy". Если придется поехать в Англию, чтобы выбрать нужный размер, я поеду в Англию, а потом вернусь, чтобы проверить ружье здесь, в Италию я привезу его в собственном футляре. И первое время буду смотреть на него постоянно, потом все реже и реже, но меня не покинет гордость от сознания, что я владею им, и я постараюсь следить за своим лицом, дабы не выказать этой гордости, и марку назову, только если меня спросят, причем по возможности сделаю это небрежно и одновременно с удовольствием. Но вряд ли это удастся, я не куплю "Purdy", а если и куплю когда-нибудь, будет слишком поздно и мне уже не останется тщеславия произнести название ружья».

А еще я хочу белый кабриолет марки «ягуар», такой, каких уже не выпускают...» Здесь мысль его прервалась, поскольку он был не уверен, что так уж страстно желает приобрести эту машину.

«У меня слишком мало желаний, — с грустью подумал он, так как знал, что отсутствие желаний — это признак

истинного конца жизни.— Ничего мне больше не хочется. Разве вот только охота». Краем глаза он увидел, что раненая птица упорно, с огромным напряжением вертится на одном месте, как бы пытаясь разорвать замкнутый круг.

«Я попал ей в голову,— подумал он,— и сейчас она бросила всю волю на то, чтобы подняться и улететь, но ее мозг уже помутился, усилия бесполезны, правда, она об этом не знает, она все еще верит, что не погибла, что ее существование продолжается, потому она до сих пор и жива».

И он встал на ноги, чтобы прикончить птицу, но услышал шум крыльев и увидел за спиной, прямо у лодки, между водой, землей и камышом, маленького кулика-плясуна: миниатюрная полосатая головка и иглообразный клюв вскинулись вверх, а глаза надменно сверкнули. Испуганный и раздосадованный кулик дважды подпрыгнул, опираясь крыльями о воду, затем взлетел; охотник и на этот раз вскинул ружье, лишь когда птица была уже далеко, но дробь достигла цели, и кулик боком упал в воду.

«Я начинаю любить этих существ, жаль, что я убил кулика, ведь он так мне нравится живым, жаль, что я убил водяную курочку, которая не вызывает у меня ни симпатии, ни неприязни, потому что она — не курица и не утка и окраской напоминает лорда, одетого в траур, в перчатках».

Так размышляя, мужчина еще раз услышал позади себя шум крыльев: он прижался к самому дну лодки и увидел, что над ним проплывает вожак стаи уток, летящих четким треугольником как раз на расстоянии выстрела, но он подождал несколько секунд, чтобы разглядеть пушистое бежевое брюшко и длинную зеленую шею, потом направил ружье на двух крайних птиц слева. Одна утка, сраженная прямо в воздухе, мертвым камнем упала в воду. Птицы оказались так близко, что он мог бы

пристрелить и вторую утку, но с мыслями было утеряно время.

Солнце поднималось в совершенно безоблачном голубом небе, и, глядя прямо перед собой в сторону запада, он увидел, что на большой лагуне, за последней отмелью, как будто возникают колокольни и башни. Ему показалось, что он слышит, как ветер, долетающий оттуда, несет с собой далекий-далекий, но густой звон колоколов, и внезапно он сердцем почувствовал площадь Святого Марка. Глазами, полными слез, он посмотрел на свои руки, потом обратил затуманенный взгляд к водяной курочке, спрятавшей голову под крыло и превратившейся в комочек: она как будто уснула, а может, отдыхала от боли, предшествующей концу, и он подумал: «Сколько же лет прошло!»

CAREZZA

ЛАСКА

Однажды зимним вечером 1937 года в холодном, плохо освещенном итальянском городе с множеством портиков и запертых церквей высокий мужчина в длинном пальто и ворсистой шляпе с широкими полями, придававшими что-то причудливое его тени, поднялся по лестнице сырого дома, подошел в темноте к одной из дверей и позвонил в тихо дребезжащий звоночек.

В этом доме жила одна барышня, еще молодая, с семилетним сыном и пожилыми родителями, которых ребенок называл дедушкой и бабушкой. Обычно дверь открывала именно молодая женщина (мужчина приходил ровно в восемь), и, в соответствии с пожеланиями гостя, уже была готова к выходу, либо они оставались в маленькой гостиной с плетеной мебелью и разговаривали там.

Сын видел мужчину лишь дважды, оба раза тот давал ему по десять лир, чтобы положить в копилку; мальчик

почти не помнил, какой он, но каждый вечер от его присутствия «там» у ребенка сжималось сердце. «Это он»,— говорил кто-нибудь из стариков, двери закрывались, и время текло для мальчика словно в ожидании чего-то. Пока тянулась эта неопределенность, старики зачастую, думая, что ребенок не понимает, или прибегая к намекам, говорили о госте (всегда называя его «он») почти с благоговением, в особенности бабушка, все выбиравшая линию поведения в семье, которая была бы достойна «его». Здороваться или не здороваться, показываться ли ему на глаза, спросить или не спросить об одной вещи. Со временем облик посетителя, который либо уходил с матерью, либо беседовал с ней наедине в притихшем доме под шушуканье стариков, стал преследовать мальчика ночью, наполняя его душу страхом.

В этот вечер мужчина вошел в гостиную, но вслед за ним вошли и старики, и ребенок понял, что отныне его жизнь изменится. Он понял это, увидев сквозь цветные витражи кухни, что дедушка плачет и гладит руку гостя, а бабушка, привстав на носки, горячо обнимает его. Потом мальчика тоже позвали в гостиную (его «принарядили» и до самого последнего момента причесывали); войдя, он почувствовал, что его появление в этих высоких узких стенах не к месту и что так оно всегда и будет.

Поскольку он молчал и не двигался, бабушка сказала:

— Поздоровайся с синьором.

Мальчику удалось даже улыбнуться.

— Здравствуйте,— проговорил он.

Посетитель ответил на приветствие и назвал ребенка по имени, но тот был слишком мал и неопытен, чтоб заглянуть ему в душу, и увидел только черные, очень блестящие волосы на непомерно длинном черепе.

Наступила пауза, во время которой померк свет в лампочках; все, кроме ребенка, подняли головы, и бабушка сказала:

— Вот и вчера тоже не было света.

Она открыла стеклянную дверцу буфета (слабый блик мелькнул перед глазами мальчика и угас в углу потолка), вынула оттуда бутылку и налила темного ликера в четыре рюмки, которые — мальчик только сейчас заметил это — были уже расставлены на круглом подносыке в центре стола. Потом она раздала рюмки, все стали в молчании потягивать ликер, а бабушка строгим, как показалось мальчугану, голосом сказала ему:

— Поблагодари синьора, ты и не знаешь, что он для тебя делает.

Мальчик не двинулся, не проронил ни слова, застыв в странной, напряженной позе — руки по швам вдоль бархатных штанишек.

— Не говорите так,— прервал ее мужчина.— Мне не нужны никакие благодарности...

И в этот момент мать ребенка беззвучно заплакала.

— Ты довела ее до слез,— сказал дедушка, обратившись к жене и неодобрительно покачав головой.

— Но признательность...— начала было та, но смолкла под взглядом гостя.

Снова настала долгая пауза, во время которой мужчина похлопал плачущую молодую женщину по руке, с какой-то лестничной площадки раскатистый мужской голос несколько раз позвал: «Тильде», и неподалеку в монашеском пансионе зазвонил колокольчик.

Взрослые заговорили о новом доме, где поселятся мужчина, женщина и мальчик,— перед домом палисадник со смоковницей,— о квартирной плате, о путешествии. («Хватит и Венеции, одной Венеции достаточно»,— сказал старик.) Бабушка снова налила полную рюмку «орехового», которую мужчина принял с коротким смешком.

Мальчик все стоял по стойке «смирно»; мать подошла к нему, взяла за руку и, подведя к посетителю, спросила:

— Ты ничего ему не скажешь?

Мальчик задумался, что же он должен сказать, и,

вспомнив две предыдущие встречи с десятью лирами, сказал, задыхаясь от стыда:

— Десять лир.

Старики не поняли, но мать, покраснев, сказала:

— Это он вспомнил, как ты в прошлом году давал ему десять лир для копилки,— и улыбнулась.

Но мужчина не улыбнулся и пристально посмотрел на мальчика с высоты своей длинной блестящей головы. Он встал, вынул из кармана монетку в десять лир и дал ее ребенку, протянувшему руку. Потом мальчик ушел, зажег свет в комнате с двумя очень старыми кроватями из орехового дерева и, привстав на цыпочки у мраморного комода, дотянулся до железной копилки и маленькой собачки из желтой материи. Он посмотрел на собачку, засунул монетку в копилку (которую потряс возле уха) и вернулся в гостиную.

— В копилку положил,— пояснила бабушка.

Но посетитель уже был на ногах и, держа в руке свою большую ворсистую шляпу, собирался уходить вместе с барышней. Он попрощался со всеми, а потом, задержавшись около ребенка, сказал:

— Запомни, малыш, никогда не следует ничего просить.

Оробевший мальчик чуть отступил и снова вытянулся; мужчина подошел, наклонился, погладил его по щеке лощеной серой рукой и добавил:

— Теперь называй меня дядей.

CASA

ДОМ

Однажды декабрьским вечером в обычном итальянском деревенском домике неподалеку от покрытых снегом холмов ужинала семья; на столе стояли бутылки густого красного вина, окрасившего своим цветом и солому, кото-

рой был оплетен сосуд, прямоугольный алюминиевый судок с кусками тушеной курицы, картошка в томатном соусе и салатница, до краев наполненная сильно наперченным красным с белыми стебельками цикорием; рядом лежал хлеб и несколько кусков поленты с поджаристой корочкой. Кухня обогревалась белой керосиновой плитой. На ней готовили и еду. Семья и двое гостей сидели за большим столом, покрытым белой скатертью, и вели разговор о другой плите, тоже керосиновой, находившейся на верхнем этаже. Высокий старик, сидя во главе стола, рассказывал о кошмарах, пережитых в окопах первой мировой войны, временами его глаза, скрытые очками, улыбались каким-то своим мыслям, а в общей беседе он почти не участвовал, лишь изредка бросая отдельные слова. Стрелка барометра сместилась с указателя «хорошая погода» и нерешительно остановилась где-то посередине, что предвещало неожиданную перемену в атмосфере. Ветер стих, но мороз еще был крепок (наружный термометр показывал четыре градуса ниже нуля, хотя стрелка явно стремилась вверх), и все чувствовали: пойдет снег. Молодой охотничий пес черно-белой масти то и дело вбегал в комнату, широко распахивая дверь, через которую врывались волны холода, и кто-нибудь тут же вставал из-за стола и торопился закрыть дверь.

— Джанфранко, погляди, что за невоспитанная собака!..— сказала хозяйка дома.

Сын прикрикнул:

— Довольно, Фулл, лежать!

Пес положил мягкую морду на ногу Джанфранко и заглянул ему в глаза. Мать с воодушевлением вновь включилась в беседу.

— Рай, просто рай,— говорила она,— обогревает одну, две, три комнаты, спальню, весь коридор и ванную.

— На какую цифру вы ее ставите? — спросил один из гостей, у которого была такая же плита.

— На шестерку, а термостат на максимум,— ответила дочь, которую звали Розетта.

— Ну, на максимум — это уж слишком. Знаете, сколько она берет? Я ставлю на среднюю, на тройку.

— В инструкции написано, что нужно ставить на шестерку и термостат на максимум,— сказала хозяйка,— но мне тоже кажется, что это чересчур. Розетта, чувствуешь, какая жара?

— Очень большое удобство,— заметил хозяин, а мать в это время смотрела на сына и улыбалась.

— Помнишь, Джанфранко, как нам приходилось топить дровами, хотя, конечно, тогда был Пино, всем этим занимался он...

— То есть как — Пино? — возмутилась Розетта.— А мы? Может, мы не ходили за дровами в холод, ты помнишь, Джанфранко?

Джанфранко улыбнулся, как бы говоря: «Еще бы не помнить!» Этому высокому красивому итальянцу с вьющимися волосами было тридцать два года. И сестра, и родители очень любили его. Отчего же тогда он так часто грустил? Многие задавали себе этот вопрос.

В темноте за стеклами двери мелькнуло чье-то лицо, и в комнату вошел молодой священник местного прихода.

— Нынче ночью будет снег,— сказал он и закрыл за собой дверь.

«Ах, дон Антонио!» — прозвучало со всех сторон. При появлении этого розовощекого и голубоглазого священника показалось, что теперь они защищены от чего-то неизвестного.

— Ну и теплынь у вас! — сказал дон Антонио и, оглядевшись, добавил: — Привезли новую плиту?

— Да-да, вчера. Садитесь, дон Антонио. И снимайте скорее пальто. Отужинаете с нами?

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я уже поужинал.

— Ну тогда выпейте немного вина,— предложил Джанфранко и взял из окрашенного в белый цвет буфета

чистый стакан. Меж стекол буфета была вставлена фотография новорожденного в кружевном конверте: ребенок то ли спал, то ли был мертв.

— Да, благодарю вас,— сказал дон Антонио, а затем, бросив взгляд своих голубых глаз в окно, заметил: — Ночь прямо для охоты на воробьев, у меня в машине сеть.

— Вот это здорово: священник-браконьер! — засмеялся синьор Альфредо.

Дон Антонио тоже рассмеялся и развел руками, как бы желая сказать: «Все мы небезгрешны!»

— С вашего позволения, дон Антонио, мы продолжим. Может, отведаете хотя бы этого красного цикория. Чудо, а не цикорий,— сказала Розетта.

— Кушайте, кушайте, ради бога. Не обращайтесь на меня внимания.— И дон Антонио, подобрав фалды сутаны, уселся на стуле, держа в руке стакан вина.

Все вновь принялись за еду.

— Чудо! — сказал Джиджи, второй гость, склонившись над своей тарелкой и неторопливо накалывая на вилку картошку в томате и нежные куски курицы.— Такую курицу, да с таким соусом, только в вашем доме и поешь: чудо!

— Да бог с вами, синьор Джиджи! — сказала хозяйка, но было видно, что и она, и вся семья довольны похвалой.

— Здесь нужны особые курочки — маленькие-маленькие.

— Да, но где их найдешь,— вздохнул синьор Джиджи.

— У нас их около сотни, когда будет нужно — скажи. Хочешь парочку на завтра — зажаришь,— сказал Джанфранко.

— Нет-нет, спасибо,— отказался, правда не очень уверенно, синьор Джиджи.

— Да ладно тебе, Джиджи, когда будет нужно...

— В самом деле, синьор Джиджи,— добавила Розетта.

Наступила пауза, во время которой присутствующие со вкусом ели, подливая друг другу вина. Затем речь

снова зашла о плитах, о доме, о других полезных вещах. Дом окружал их всеми своими комнатами, теплыми и множеством пустых, холодных и темных; своим огромным амбаром и чердаком, где когда-то убили двоих немцев. Едва заговорив о них, сидевшие за столом — и хозяева, и гости — вдруг замолкли: словно только сейчас осознали, сколько древнего, необжитого, давно позабытого вмещают в себя эти стены.

Они вспоминали о первой мировой войне и о второй, но потом беседа непонятным образом вновь вернулась к отоплению.

— Давайте прикинем,— сказал хозяин, вынимая из кармана ручку и поспешно делая заметки на уголке газеты.— Если в час, как указано в инструкции, уходит литр керосина, то получается двадцать четыре литра в сутки. Центнер дров стоит тысячу лир. Сравним, и получится, что выгода есть, да еще какая.

Они поднялись наверх, чтобы взглянуть на плиту, посмотреть, как она работает, прошли в огромные спальни (на одной из кроватей лежала кукла, одетая под испанку), в ванную, остановились в коридоре. В глубине виднелась закрытая дверь, которая вела в другие коридоры, в комнаты без мебели, на лестницы и чердаки. Сквозь замочную скважину просачивался холод, какой излучают все незнакомые вещи. Потом Джанфранко, оба гостя вместе с доном Антонио (может, эта дверь была тому виной) вышли на холодный воздух, в сад, и посветили фонариком на термометр: стрелка поднялась почти до нуля градусов, в густой листве вечнозеленых деревьев слышался шорох крыльев и перьев.

— Шшш,— прошептал дон Антонио,— слышите, фазаны.

Они тихо прошли к большому кедру, и Джанфранко направил фонарик на ветви: сначала увидели одного, потом двух, трех фазанов-самок, застигнутых в самом разгаре сна, потом один крупный фазан-самец повернул

голову в сторону, и в луче света блеснул его глаз.

— Гусь, смотри, гусь,— тихо сказал Джанфранко, и голос его задрожал от волнения. Его фонарик выхватил из темноты громадного дикого гуся, который вытянул шею, зашипел, раскрыл широкие крылья и улетел в ночную тьму. Сквозь стекла освещенной двери смотрели наружу отец, мать, Розетта и Фулл.

— Сумасшедший,— сказал, прерывисто дыша, дон Антонио,— да знаешь ли ты, что такое дикий гусь? Принес бы карабин, урод... Гусь!.. Боже ж ты мой, упустить гуся!..

И как только прозвучало слово «гусь», на крышу дома и вокруг стал медленно опускаться снег.

CINEMA

КИНЕМАТОГРАФ

Однажды в воскресенье 1942 года некая девица, уже немолодая, с кудрявыми рыжеватыми волосами, собранными в пучок, решила пойти в кино. Она бывала в кино лишь несколько раз в жизни, главным образом сопровождая детей на мультфильмы (она служила гувернанткой в богатом аристократическом доме), и только один раз вместе со всей семьей видела фильм «Спаситель мира» — это было на пасху, она уж и не помнила, в каком году. В этом доме на кинематограф смотрели косо, но в то воскресенье гувернантка решила отправиться одна, никому ничего не сказав.

Шел дождь, густой желтый дым, валивший из труб фабрики, где поджаривали ячмень, окутал ее и зонтик и редких прохожих, которые жались к бесконечно длинной кирпичной стене (день к тому же был ветреный).

Кутаясь в плащ, она добралась до центра города, мелкими шажками приблизилась к входу в кино «Эдисон»

и остановилась посмотреть рекламные фотографии фильма «Золотой город» — одной из первых цветных немецких кинолент; у кассы она увидела толпу солдат и штатских: девица знала, что фильм этот считается «смелым», знала и то, что кинотеатр — не из лучших, но решила не обращать на все это внимания, хотя сердце у нее забилось сильнее (она воспитывалась в пансионе для бедных монахинь, но прекрасно говорила по-немецки и даже одно время работала переводчицей).

Чтобы не стоять в толпе мужчин, она сделала над собой усилие и попросила продавца карамелек (он жевал лакрицу, отчего весь рот у него был черный) взять ей билет. Она расплатилась с ним, купив пять карамелек, и вошла в зал. Здесь она сразу же поняла, что попала в «общедоступный» кинотеатр; среди публики почти не было женщин, за исключением нескольких блондинок и женщин с мужьями. Она было нашла себе место — неудобное, среди компании подростков — и стала пробираться вдоль ряда, но ее опередил какой-то тип в черной униформе, сказавший: «Занято».

Тут потушили свет, и гувернантка осталась стоять, прислонившись к стене как раз под лучом проектора, от которого шел сильный запах ацетона. Этот непривычный запах создавал у нее ощущение какой-то тайны. На экране появились первые кадры хроники: куда-то шагающие альпийские стрелки, парады в Риме и, наконец, «дива», которая для рекламы распивала кофе под названием «астргал». Вновь зажегся свет; девица, чувствуя себя страшно неловко, все бродила в поисках места (на ней была тирольская шляпа с тисовой веточкой, заткнутой за ленту), когда чья-то большая, пухлая и очень сильная рука вдруг ухватила ее за локоть. Она обернулась, испуганная, но готовая дать отпор, и увидела пожилого человека, в полупальто с большими отворотами рыжего меха; улыбнувшись, он указал ей место рядом с собой.

Гувернантка сказала «спасибо», прошла, задев своими

ногами колени мужчины, которые показались ей ужасно жесткими, и села. Через несколько минут ее бросило в жар (зал был полон табачного дыма), она расстегнула плащ, развязала шарф, и как раз в этот момент свет погас, и фильм начался. Девушка сразу же «влюбилась» в героиню, молодую немку в роли красивой, невинной крестьянки. Однако гувернантка быстро поняла, что фильм этот гораздо более «смелый», чем она могла себе вообразить. Она чувствовала, что рано или поздно начнут целоваться, если не произойдет чего-либо похуже.

Она подумала было встать и уйти (но как?), а потом ощутила какую-то апатию — то ли от духоты в зале, то ли от близости жесткой неподвижной ноги, через которую ей пришлось перешагивать; сердце ее снова сильно забилось.

Тут какая-то женщина сзади ткнула ее в плечо пальцами, пахнущими мандарином, и сказала:

— Простите, вы не могли бы подвинуться чуть-чуть влево?

Синьорина подвинулась влево, но вскоре к ней снова потянулись мандариновые пальцы, и послышался женский голос:

— А теперь, если вас не затруднит, наклоните голову немного вправо.

Девушка повиновалась.

— Так? — спросила она.

Женщина сухо ответила:

— Так.

Прошло еще некоторое время, и та женщина сказала:

— Послушайте, я ничего не вижу.

Мужчина, сидевший рядом с ней, что-то пробурчал, девушка не знала, что ей делать, люди кругом говорили: «Хватит, тише», и тут вмешался толстяк в меховом полу пальто: он с усилием привстал и постучал своей жесткой ногой о деревянное кресло, — получился звук какого-то музыкального инструмента. Затем последовала короткая

перепалка на диалекте, которого гувернантка не понимала, но уловила слово «воспитание». В конце концов женщина сзади сказала громко:

— Как можно ходить в кино в эдакой шляпе?

Девушка залилась краской и быстрым движением, словно раскланивающийся мужчина, сорвала с головы шляпу; пучок рассыпался, и несколько рыжих прядей вперемежку с седыми повисли за ушами. Обеими руками она прижала шляпу к животу и снова стала смотреть на экран. Там уже целовались: молодая невинная крестьянка утопала в большом пуховике на кровати; пухлые губы вздрагивали, лицо покраснелось, холщовая ночная рубашка вздымалась на груди от жарких вздохов. Девушка глядела на экран в полной растерянности, еле переводя дух.

«Уйти, не уходить, останусь, что за стыд, не волнуйся, будь выше этого, что за стыд», — вертелось у нее в голове, а что-то, видимо, слетело и с губ, потому что сосед, время от времени поглядывавший на нее, тихо спросил:

— Что? Вы что-то сказали? — и улыбнулся ей широким ртом любителя хорошо покушать.

Девушка не ответила, опять устремив взор на экран, но тут она услышала какой-то шум, исходивший из соседнего кресла; это было что-то вроде легких ударов, которые от жесткой ноги передавались ее собственной, словно стучали в дверь. Она несколько раз бросила быстрый взгляд вниз направо и увидела, что мужчина, положив свою толстую руку на колено, барабанит по нему пальцами. Охваченная ужасом гувернантка не могла взять в толк, как может нога производить такой звук (мужчина барабанил теперь беспрерывно, костяшками пальцев, именно так колотят в дверь); не двигаясь, она уставилась на экран, где продолжалась сцена обольщения, и у нее вырвался стон или короткий вопль — так сильно билось ее сердце.

В один прекрасный день, когда все вокруг было залито небесной голубизной, ничем не примечательный мужчина приехал в почерневший от копоти, погребенный среди снегов и высоких горных вершин город. Проходя под низкими портиками, он остановился перед лавкой сувениров. В ее витрине владелец выставил кукол, изображавших молодоженов из Тироля, над которыми висела вывеска «Zwei Herzen»*, и мужчина внезапно вспомнил белокурую веселую девочку, всегда одетую в тирольское платьице, которую он встречал всякий раз, когда шел в школу. Заметив друг друга, они покраснели. Однажды вечером он встретил ее на маленькой пустынной улочке — на ней было шерстяное пальто и шапочка (шел снег) — и взял за руку, а немного погодя поцеловал сначала в ледяную щеку, а потом в красные губы, а она, не двигаясь, смотрела на него своими голубыми широко раскрытыми глазами.

— Как тебя зовут? — спросил у нее мальчик.

Она, все так же прямо глядя на него, ответила по слогам:

— Серд-це.

Потом дороги их разошлись, и пролетели годы.

Рассматривая кукол, мужчина задумался: где сейчас и жива ли та девочка, может, уже и нет. Он думал об этом и днем, и вечером, и у него появилось большое, неудержимое желание вновь увидеться с ней. Немного смущаясь, мужчина стал звонить забытым школьным друзьям, объясняя, что ему нужно, но, так как он не знал даже ее фамилии, только имя, никто не смог вспомнить, о ком идет речь. В конце концов ему попался

* «Два сердца» (нем.).

одноклассник, ныне ботаник, чья память оказалась прочнее, чем у других: он сообщил, что она замужем, имеет двоих детей, живет недалеко от этих мест. Ботаник — непонятно каким образом — даже отыскал номер ее телефона.

Мужчина набрал этот номер, и ему ответил голос механической куклы. Это была она. Она сказала, что все помнит и тоже хотела бы увидеть его.

— У тебя до сих пор косы? — спросил мужчина.

— Нет, короткая стрижка.

— Совсем короткая? — переспросил мужчина, сам не понимая этой своей настойчивости.

— Да, совсем, — ответила она.

Он сказал, что помнит ее в тирольском платье, она ответила на это, что прошло столько лет, что теперь она уже «женщина среднего возраста», которая, возможно, разочарует его и поэтому, может быть, разумнее было бы и не встречаться вовсе. Потом прибавила слова, показавшиеся ему прекрасными:

— И все же знай: я очень хотела бы тебя увидеть, даже если ты уже передумал.

Мужчина спросил ее фамилию по мужу, и она ответила:

— Так звали одного из семерых гномов, угадай.

Он замаялся (кто в самом деле помнит теперь имена этих гномов?), но она настаивала, подсказывала, и он наконец начал вспоминать. При имени Дотто (педант) женщина радостно вскрикнула.

— И чем же занимается синьор Педант?

— Он представитель фирмы продовольственных товаров.

Затем наступила долгая пауза, после чего, уверенные, что многое еще не сказано, они распрощались. «Возможно, она немножко не в себе, — подумал мужчина, — или же просто глупа», но, сам того не желая, продолжал думать о ней, и ночью она приснилась ему в тирольском

платье — такой, какой он помнил ее: с фарфоровыми глазами, которые были оттенены черными ресницами, и на ресницах снежинки, — она стояла совершенно неподвижно и улыбалась.

На следующий день он вновь позвонил ей, но не застал; ему ответил мальчик, и голос его звучал сурово, как будто он чувствовал в зимнем воздухе какую-то угрозу. В пять часов вечера (он сказал ей, что в это время всегда бывает в гостинице), ровно в пять, он услышал в трубке ее тягучий голос. Они немного поболтали, она сказала, что была тогда (в двенадцать лет) очень влюблена в него; он убедил и себя и ее, что им владело то же чувство.

— Ну а сейчас? — спросил мужчина, краснея (подобные приключения отнюдь не соответствовали его характеру), и после долгой паузы услышал:

— Я замужем, разве можно любить двух мужчин одновременно?

Она казалась удивленной, но никакого осуждения он не услышал и не нашелся что сказать. Наконец он сообщил ей, что на следующий день приедет на несколько часов в ее город. Они договорились встретиться у городского собора, и он спросил ее размеры, сказав, что хотел бы сделать ей подарок.

— Сорок два, сорок четыре, — ответила она. Голос ее звенел счастьем: — Но ты не беспокойся, прошу тебя!

Мужчина вышел на улицу, покрытую снегом. В голове было пусто и легко. Он направился к лавке сувениров, где купил тирольский костюм (в размере, правда, он был не уверен) и поехал к ней. Сидя в машине, он глядел на лес, тянувшийся по сторонам дороги, и вспомнил почти весь фильм «Белоснежка и семь гномов»; как-то незаметно для себя он испытал странное ощущение нереальности происходящего, которое всегда предшествует и сопутствует важным событиям в жизни. Добравшись до собора, он сразу же узнал ее среди прохожих: ему

показалось, что она не изменилась — все та же девочка, медлительная и изумленная, как тридцать лет назад.

— Здравствуй, Сердце! — сказал он, и голос его дрогнул.— Ты все такая же.

А женщина, садясь в машину, улыбнулась и своим тягучим приятным голосом произнесла:

— Привет, ты тоже не изменился.

Два часа они катались по лугам и у реки, среди кустарника. Говорила в основном она, горячо и умно, слова, как в сказках, были простые и предельно ясные. Потом они заехали в чащу, где она хотела померить тирольский костюм. Переодевшись, женщина сказала:

— Ах, какой черный лес! — и взяла его за руку. Когда они вышли из леса, она, показывая на маленькие ростки пшеницы в поле, заметила:

— Трава уже зеленая.

Ее круглое розовое лицо, огромные, широко раскрытые голубые глаза и губы, пухлые и красные, были, как и много лет назад, такими же простодушными и чистыми-чистыми. Мужчина поцеловал ее: как и тогда, она не двинулась с места, широко раскрытые глаза смотрели на него.

По пути назад мужчина спросил:

— Вчера, когда ты говорила со мной по телефону, дети слышали тебя?

Она нахмурилась и ответила серьезно:

— Да, причем у нас с мужем даже вышел спор. Он же медведь, мой муж. Он спросил меня: «Что ему нужно?»

Мужчина обратил внимание на ее немного отсутствующий и обиженный вид, какой бывает у детей, когда они не желают говорить о чем-то или вот-вот солгут.

— И что же ты ему ответила?

— Ничего. Я сказала, что тебе ничего не нужно.

Мужчина попытался выяснить другие детали разговора, настойчиво задавая вопрос за вопросом, но она рас-

сеянно смотрела прямо перед собой, и тогда он смеялся тему.

Он спросил, есть ли у нее машина. Женщина рассмеялась и сказала:

— Муж не хочет, чтобы я получила права, он говорит, что я крайне рассеянна.

— И что же ты делаешь целыми днями?

— Сажу дома, муж не хочет, чтобы я выходила, говорит, я даже не смогу сама перейти улицу, представляешь? Я выхожу только по утрам — за покупками, но со мной ходит рассыльный.

— Что, у тебя нет служанки?

— Нет.

Во время всей поездки мужчина держал руку женщины в своей, один раз он поцеловал ее и почувствовал запах очень дешевого мыла, потом поцеловал ее в щеку, и в нос проник запах детской присыпки, тоже очень дешевой.

— Для меня было счастьем снова встретиться с тобой,— сказала она, бережно беря пакет с тирольским костюмом,— и я хотела бы видеть тебя очень часто.— После этих слов, произнесенных спокойно и радостно, она добавила: — Ты тоже?

Мужчина кивнул, и, когда она вышла из машины, он услышал:

— Я сама всегда буду звонить тебе в пять.

С того дня они виделись все чаще — в местах и в часы, обычные для любовников; он ничего больше не спрашивал ее о муже и детях, сама же она говорила о них редко, и всякий раз при этом лицо женщины обретало отсутствующее и обиженное выражение. Связь их не зашла слишком далеко. Во время встреч мужчина говорил мало, пребывая в состоянии восторженного оцепенения, в которое его повергали ее слова и восклицания, ласки и голубые глаза, открытые, когда они целовались, и прикрытые длинными черными ресницами во время сна.

Временами его охватывало беспокойство, но он не

признавался в этом женщине, так как не знал, как объяснить свои ощущения. И тогда он говорил как бы самому себе: «Ты не изменилась, ничуть». И она отвечала: «Ты тоже». Однако мужчина притом очень хорошо знал: все человеческое проходит и исчезает, может быть, в этом знании и крылась причина его беспокойства. Их встречи продолжались четыре года, и все это время им казалось, что они молоды и счастливы. Но однажды женщина не пришла, и больше он ничего о ней так и не узнал.

D

НЕЖНОСТЬ
ЖЕНЩИНА

DOLCEZZA
DONNA

Водно раннее сентябрьское утро, наполненное соленым и горьким воздухом, что поднимался с Большого канала на площадь Святого Марка, некий мужчина, у которого были слабые бронхи и легкие, вышел из «Даниэли»*. Он сделал три глубоких вдоха, огляделся и прислушался к плеску воды, полюбовался игрой воды и воздуха, пронизанного лучами солнца. Увидел в голубоватой тени остров Сан-Джорджо и услышал, как в разных концах Венеции звонят колокола.

«Как же я счастлив! — чуть не сказал он вслух, потом мысленно добавил: — Но, к сожалению, я знаю об этом».

Он подошел к самому краю тротуара, куда долетали брызги, и стал умываться, черпая руками, как ребенок, и боясь, что кто-нибудь упрекнет его за подобную шалость. Но вот он поднялся, направился к площади, и сразу же его окружили сотни голубей с их запахом, въедавшимся во все поры тела. Птицы стаями подлетали к продавцу корма; глядя на голубей и посочувствовав их стремлению добыть пищу, мужчина, которому есть не особенно хотелось, вдруг почувствовал сильный голод. Напевая песенку («Нина, не будь глупой, как голубка»), он направился к кафе «Лавена»; оно было еще закрыто. Тогда в ближайшем киоске он купил пару газет и, вернувшись в «Лавену», уселся за столик на открытом воздухе, с вождедением представляя, как через несколько минут съест кусок горячего слоеного пирога и миндальное пирожное, запивая их кофе со взбитыми сливками, посыпанными тертым шоколадом. Он раскрыл газеты, перелистал их, остановившись на нескольких заголовках, однако образ пирожного вот здесь в глубине площади Святого Марка, под голубым небом,

* Самая фешенебельная гостиница Венеции.

кое-где покрытым маленькими розовыми облачками, на открытом воздухе, пропитанном солью, вытеснил все газетные заголовки.

«Политика, политики...— подумал он, как бы со стороны придирчиво рассматривая иную особь живых существ непонятного, отталкивающего вида,— политики... Что знают они о миндальном пирожном?»

Прошло время («Лавена» все еще была закрыта), а первые лучи солнца уже проникли в кружевные узоры на крышах Дворца дождей, упали на лицо, обожгли глаза, однако он принял на себя этот яркий свет, но в то же время, играя, уклонился от него: опустил веки и прикрыв один глаз, он смотрел на площадь. Несмотря на слепящие блики, увидел, как на площади появился фотограф со своим покрытым черной тканью аппаратом, треногой и стендом с рекламными снимками. Быстрыми и точными движениями тот установил оборудование посреди площади и, вывесив табличку «Сейчас вернусь», исчез. Затем появились лоточники с кормом для голубей и сувенирами; продавцы расставили все по местам и тоже исчезли.

«Удивительная страна эта Италия»,— с большой теплотой подумал мужчина и, желая глубже и полнее ощутить эту любовь, обратился мыслями к Порто-Капуана (Неаполь), к голубой воде у скал Капри, в той точке, где подводный грот проходит под первым утесом, к блюдам из рубца в ресторане «Троя» (Флоренция), к фильму «Сладкая жизнь» (Рим), к свежему снегу, устилающему горные дороги в районе Кортина д'Ампеццо; его охватило волнение от нового чувства, которому он не смог подобрать названия. Конечно, это было чувство итальянца, потому что ничего подобного он в себе не замечал во время поездок в другие места, за исключением разве что Индокитая, когда на закате дети верхом на буйволах опускаются в воду прудов и раскрываются цветы лотоса или же когда на рассвете вокруг разносится оглушающее стрекотание цикад в эвкалиптовых рощах, оно длится ровно десять ми-

нут, а потом возвращается тишина и воздух пронизывают велосипедные звонки: первые местные жители выезжают на улицу. Эти картины тоже были прекрасны, но они представлялись ему в ином свете и не были такими радостными. Нет, чувство, которое он испытывал сейчас, было просто итальянским, без всякого названия.

«А удлиняют или укорачивают жизнь наши чувства?» — спросил себя мужчина и интуитивно понял, что, как бы несправедливо это ни выглядело, второе предположение было наиболее реальным, даже, пожалуй, самым вероятным.

Кто-то наполовину приподнял жалюзи кафе, и внутри он заметил ноги престарелого человека, покрытые старой-старой черной тканью; они заканчивались двумя плоскими ступнями в сверкающих, но сплошь покрытых трещинами туфлях: ноги медленно двигались вслед за веником — мужчине показалось, что они делают не больше шага в минуту. Зная, что совершает глупость, мужчина все же не сдержался и позвал: «Официант». Он увидел, что туфли и веник надолго застыли на месте, но никакого ответа не последовало.

Мужчина вновь стал размышлять об Италии, его несколько озадачило это итальянское чувство без названия, и он подумал об «отрицательных сторонах» этой столь любимой им страны; таковых оказалось очень и очень много, но, неизвестно почему, он тут же забыл о них.

Погрузившись в сладкую солнечную дремоту, мужчина подождал еще какое-то время, затем на столе одно за другим появились три горячих миндальных пирожных, какие он себе и представлял, а также кофе со взбитыми сливками, посыпанными шоколадной пудрой. Он сразу же съел целиком первое пирожное, у него почти перехватило дыхание, и он подумал: «Как же хорошо!» При этом мужчина вздохнул, слегка взвизгнув, но этот звук не смутил его. Потом он закурил сигарету, и дым ее тоже доставил ему удовольствие, однако вслед за этим он почувствовал

острую жалость к своим бронхам и легким, которые так сильно страдают от табака, что годы пролетят для него быстрее, чем положено (неважно, много их будет или мало), и что скоро он превратится в старого и больного человека. «Но ведь со времени моего детства прошло совсем немного лет», — наивно подумал он и с этой мыслью встал и принялся бродить по Венеции в поисках маленькой площади, рассеченной колоннами, которую он находил всегда и исключительно случайно, после чего неизменно начинал блуждать, не зная, куда идти дальше. Как и прежде, он оказался на широкой тенистой набережной в северной части города, откуда открывался вид на остров Сан-Микеле с его холодными кедрами, на Мурано и на широкую гладь воды, которая как бы покачивалась между отмелями, полосками земли и камышами. Мужчина почувствовал, как внутрь проникает холод этой тени и этих кедров (его бронхит в какой-то степени был связан и с нервным расстройством), пошел назад и заблудился. Тогда он стал спрашивать дорогу и, сориентировавшись, в половине первого вошел в людную закусочную, уселся на скамью, съел, как было задумано, рис с моллюсками, заправленный чесноком и петрушкой, от которой крупа была зеленоватого цвета. Затем заказал пару небольших отварных и политых маслом морских полипов с лимоном (один он попробовал без лимона, но так и не решил, что вкуснее). Выйдя из закусочной, он заглянул в ближайший трактир, дважды попросил холодного фриульского «токая», от которого стекло бокала запотело. Попрощавшись с хозяином, он вернулся в гостиницу, быстро снял с себя все, вплоть до нижнего белья, и нырнул под накрахмаленную льняную простыню; несколько минут послушал всплески воды, идущие от весел, привычные возгласы гондольеров и заснул.

Поближе к вечеру мужчина, надев на шею великолепный шарф из голубого шелка с белыми горошинами, отправился к «Флориану», где уселся неподалеку от оркест-

ра, чтобы слушать музыку и смотреть вокруг. Музыканты играли мелодию из «Веселой вдовы». Он увидел много интересного: женщину, вероятно англичанку, которая сидела в углу и пила одну рюмку за другой,— время от времени казалось, что она подпевает оркестру. Потом он заметил необычайно элегантного старичка итальянца с бамбуковой тросточкой в руках, в белом костюме и белых крагах. Его розоватое лицо светилось от счастья. Время от времени он поглядывал на нашего героя своими узкими, как у монгола, живыми, лучистыми глазами; он то наклонял голову, как бы приветствуя его, то начинал раскачиваться в такт музыке, как бы приглашая последовать собственному примеру.

Пужинал он в «Куадри»*: свежайшей лангустой, которую запивал ледяным «Сильванером» (Марио, мэтр, был невероятно доволен, что дал такой удачный совет). Он посмотрел вокруг себя и увидел неторопливо ужинавшую в одиночестве удивительно изящную женщину с очень короткой стрижкой — один глаз у нее был чуть-чуть меньше другого. Неожиданно с пальца ее соскользнул перстень, мужчина поднял его и протянул ей, и она улыбнулась, как-то очень мило сложив губы.

Он покинул Венецию, прошло совсем немного лет с того сентябрьского дня, и вот уже в другой день — в феврале — он лежал в клинике и очень грустил. Чтобы как-то развеяться, он слабым, чуть слышным голосом запел — вышла мелодия «Маленькой блондинки в гондоле». И он заплакал, так как вспомнил оркестр у «Флориана», покачивающуюся лагуну и нежность, которой одаряет нас жизнь.

* Один из самых дорогих и фешенебельных венецианских ресторанов.

Однажды в Кортине д'Ампеццо, в большой долине, спрятавшейся среди гор, некая молодая женщина, быстро, словно играючи, спускаясь на лыжах со склона, увидела в белом пространстве без тени и ветра одиноко стоящего человека с черной мефистофельской бородкой и черными глазами. Одно мгновение — и она промчалась мимо, взлетая на свежем снегу, но все уже стало не таким, как раньше, и это ей показалось странным.

Спустившись в долину, она сняла лыжи, погрузила их в красный джип (она сама тоже была одета в красное, и ее короткие вьющиеся волосы были огненно-рыжими) и вернулась домой. С порога она услышала визг детей и звонок телефона; слегка вздрогнув, она подумала: а вдруг это он, человек с бородкой, и сняла трубку. Но это был не он, а одна из ее приятельниц, с которой она стала долго и торопливо болтать, немного запинаясь и не зная хорошенько, что именно говорит. За столом она много разговаривала с мужем и, сама не зная почему, дважды обняла его; потом побеседовала с гувернанткой и наконец с детьми, то вскакивая, то садясь, беря поочередно на руки и целуя то одного, то другого.

Прошло несколько дней, погода хмурилась, снова стало холодно, и однажды утром, когда шел густой мелкий снег, необычный для этого месяца, женщина в белой меховой шубке и белой вязаной шапочке, из-под которой выбивался рыжий локон, шла мимо колокольни, держа за руки детей, и увидела этого человека — уже без бородки — в старом летном кожаном шлеме. Он был в обществе кудрявого блондина в военном кителе и очень красивой дамы; все трое смеялись, и по блеску их белых зубов женщина поняла, что им хорошо вместе, и ее кольнула боль и зависть. В этот момент мужчина тоже увидел ее, перестал смеяться и посмотрел на нее пристально и так

непонятно, что женщина не могла отвести взгляда, и оттого ей даже пришлось повернуться спиной.

Снова появилось солнце, и под теплым весенним ветром снег стал таять. Женщина все каталась на лыжах; иногда она подумывала о человеке с бородкой, но всякий раз, когда ей чудилось, что она его видит, это оказывался не он. И вот однажды она встретила с ним на вечере, где было много гостей; их представили друг другу, причем фамилии она не разобрала, и они сели рядом.

— Вы отлично стоите на лыжах,— сказал мужчина, все так же непонятно глядя на нее. Глаза у него были очень темные, а белки — ослепительно белые.— Как мальчик.

— Это не комплимент,— сказала женщина неуверенным голосом.

— Нет, именно комплимент,— сказал мужчина.— У вас повадка мальчика, кожа, даже голос.

— Почему? Какой у меня голос? — Она чувствовала, что робеет; быть может, ей следовало обидеться?

— У вас голос немного хриплый.

— По-вашему, он красивый?

Мужчина посмотрел на нее, потом сказал:

— Очень красивый,— и, не простившись, ушел.

С этого момента женщина почувствовала, что она именно такая, как он сказал, и стала говорить без умолку, с внезапными запинками, совсем как мальчик. У нее покраснели щеки, билось сердце, и она размахивала руками. Ночью она, спавшая обычно глубоким и спокойным сном, все думала и думала о странных фразах, произнесенных этим человеком, потом стала думать о нем самом и попыталась увидеть в темноте его лицо: очень густые черные дуги бровей, жесткий рот с тонкими губами. И все-таки было в нем и в его манере держаться что-то очень хрупкое, как у больного или грустного человека.

Утром женщина вдруг позвонила ему.

— Я должна сказать вам две вещи: во-первых, не хотите ли покататься на лыжах, а во-вторых, вы приглашены

сегодня ко мне на ужин. Согласны?

Мужчина ответил:

— Да, милый мальчуган.

Они встретились. Она перенесла лыжи, палки, ботинки в его машину, и они поехали. Из-за своего телефонного звонка женщина чувствовала себя неловко и съежилась на сиденье, украдкой поглядывая на мужчину, когда он на нее не смотрел, но он дважды поймал этот взгляд и улыбнулся; женщина поняла, что ее любопытство слишком явно, и сказала:

— А знаете, мне было очень любопытно познакомиться с вами.

Мужчина довольно долго молча смотрел на нее — на ее лоб, глаза, рот, щеки — и потом сказал:

— А мне еще больше, я на вас смотрю целый месяц.

Женщина покраснела и замолчала. Но в конце концов все-таки спросила:

— А почему?

— Потому что вы — как жизнь, — ответил мужчина.

Смятение многих чувств охватило ум и сердце женщины, и среди этого смятения она распознала страх.

Они остановились у канатной дороги, но дальше ни один из них не двинулся.

— Что будем делать? — спросил мужчина. — Кататься?

У женщины не было никакого желания кататься на лыжах, ей хотелось лишь задавать мужчине множество вопросов и узнать о нем все; однако она сказала:

— Будем делать то, чего хотите вы, выбирайте сами.

Мужчина сделал длинную паузу, нерешительно похмыкал, улыбнулся, помолчал еще некоторое время, глядя на озаренный солнцем длинный спуск, и наконец сказал:

— Никаких лыж, пойдём куда-нибудь пообедать. Где вам больше нравится?

Она почувствовала себя очень счастливой и сказала:

— Обычно я всегда знаю, куда мне хочется пойти, но сегодня — нет, и я не желаю об этом думать. Сделайте

одолжение — решайте сами.

Мужчина неуверенно предложил несколько мест, а женщину переполняло счастье, потому что она уже выбрала, куда пойти. Она сказала:

— Пойдемте в красный домик. Вы знаете, где это?

— Не знаю, но пойдемте в красный домик.

Женщина подумала, что он с самого начала отгадал ее намерение, и поспешно сказала:

— Но если вы хотите пойти в другое место...

Мужчина, смеясь, перебил ее, сказал:

— Нет, мальчуган, пошли в красный домик, — и взъерошил ей волосы.

— Почему вы зовете меня мальчуганом? Перестаньте называть меня мальчуганом, — сказала женщина.

Мужчина засмеялся и очень спокойным веселым тоном повторил:

— Мальчуган, рыжий мальчуган, непоседа и вдобавок робкий.

Женщине захотелось спорить, противоречить, ссориться.

— Я никогда в жизни не была робкой, мне тридцать пять лет, у меня двое детей. И муж.

Мужчина засмеялся.

— А на самом деле вам тринадцать, вы очень робки и нет у вас ни детей, ни мужа.

— Вы всегда так уверены?

— Нет, но сейчас — да.

Они пообедали в красном домике, занесенном снегом, среди капели и солнечного блеска. Она чувствовала себя робкой, точь-в-точь как он сказал. От этого у нее разыгрался аппетит, и она съела огромную тарелку спагетти и бифштекс из оленины с полентой, выпила много вина и две рюмки граппы. На обратном пути она пела, и, когда мужчина погладил ее по щеке тыльной стороной ладони, она схватила его руку и потерлась щекой о суставы пальцев.

Вернувшись домой, женщина немного поспала, потом распорядилась насчет ужина и улеглась в ванну, разговаривая сама с собой и напевая. Муж услышал ее и сказал:

— Что с тобой, ты с ума сошла?

И женщина ответила:

— Нет, дорогой, я не сошла с ума.

После ванны она пошла в гардеробную. Быть может, уместно надеть длинное вечернее платье? Она примерила его и нашла, что выглядит нелепо: замужняя дама с двумя детьми — и нелепая. Примерила мини-юбку, увидела, что ноги у нее неплохие, но не очень красивые, во всяком случае — это ноги невысокой женщины. Не такой высокой, как та дама, которая смеялась в компании с Мефистофелем. Имя Мефистофель показалось ей подходящим, и она посмеялась про себя, подумав, что она ему это скажет. Потом надела брючный костюм из черного крепа и показала себе предельно смешной. Потом — твидовые брюки с красной атласной блузкой и черные лаковые туфельки. Нет, нет и нет. Поглядела искоса на брюки из шотландки, поняла (будто он сказал), что это «дурной вкус», и покраснела. Примерила замшевую юбку с кофточкой в мелкую бело-голубую клеточку. Недурно, но не так уж хорошо; она почувствовала ужасную усталость и полу-раздетая бросилась в отчаянии на постель.

Она услышала, как муж в ванной комнате опрыскивает себя духами, и ей не понравились ни запах, ни шипенье пульверизатора, ни то, что ее муж душится. Ей вообще не понравилось быть замужней женщиной с двумя детьми и главным образом не понравилось иметь вот такого мужа. («Ты с ума сошла?» Вот кретин!) И в этот момент чутье подсказало ей, что к кофточке надо надеть кожаные брюки. Она оделась, осмотрела себя со всех сторон в зеркале (раза два поджав губы) и решила, что так она больше всего похожа на мальчугана. И при мысли об этом две большие слезы скатились на кофту в небесно-голубую и белую клеточку.

E

ЛЕТО
ВОЗРАСТ

ESTATE
ETÀ

Однажды в октябре на борту пароходика, курсирующего по линии Иския — Капри, стоял человек, облокотившись о поручни у форштевня, лицом к солнцу и ветру, и пристально глядел, ни о чем не думая, на голубизну моря и белую пену волн.

— Лето кончилось,— произнес он.

У него перехватило горло, и больше говорить он не смог. Тогда он подумал: «Кто знает, где она теперь?» — и снова увидел рядом с собой, здесь, на носу корабля, свою жену, с которой не виделся уже много лет, и посмотрел на нее так же, как в то далекое лето.

У нее были тогда длинные каштановые волосы, собранные на затылке в конский хвост, но все равно развевавшиеся по ветру, робкое, овальное, диковатое личико восточной монахини, очень короткие белые шорты, выгоревшая индийская кофточка и запачканные чем-то красным теннисные туфли на босу ногу; кожа ее уже потемнела от загара, и крупные белые зубы чуть выдавались вперед (он запомнил ее с приоткрытым ртом). Ей было девятнадцать лет, говорила она очень мало, двигалась и ходила быстро, порывисто, грациозно; ей часто хотелось есть, пить, спать. Они были довольно стеснены в деньгах, можно даже сказать — бедны, но очень счастливы и одновременно очень несчастны, как часто случается в этом возрасте. Частенько ссорились, он дергал ее за волосы, правда не слишком сильно, иногда даже хватал за горло, как будто собирался душить, а она царяпалась и брыкалась.

Но в тот день и в то лето они были счастливы, приехав на Капри, и он, глядя на нее в этой одежде, все хотел сказать: «Как ты изящна!» — с искренним и неподдельным восхищением. Но так и не сказал этого из робости,

из опасения показаться слишком пристрастным и еще потому, что хотел проявить твердость характера. Не имея лишних денег, а также из деликатности друг к другу они сами несли свои чемоданы (очень старые и очень добротные, с наклейками Гоа и Сингапура), поднялись на фуникулере, перешли небольшую площадь (она — поспешно, опустив глаза, так как на нее посматривали) и, приустав, но не останавливаясь, добрались до пансиона «Скалина-телла». На пути от площади к пансиону она почувствовала аромат бугенвиллей и увидела эти нежные лиловые цветы, которые заткали старую стену; чуть сморщила маленький носик (у нее была привычка ко всему принюхиваться), но ничего не сказала.

Хозяин пансиона синьор Моргано проводил их в комнату и распахнул окна большой террасы, выходившей на море и Чертозу*. Этот хорошо воспитанный неаполитанец понял о молодоженах все, что требовалось понять: ее утонченную и диковатую натуру, его извилистый ум (новобрачного он знал и раньше). Острым взглядом приметил золотое колечко у нее на пальце, но с тонкой галантностью спросил:

— Синьорина еще не бывала на Капри?

Она оценила галантность синьора Моргано, ей очень понравилось его волшебное имя, напоминавшее о фее Моргане, и, приоткрыв губы в улыбке, она ответила:

— Нет.

Вслед за синьором Моргано явился одетый в белое мальчик, который принес арбуз во льду; потом оба незаметно исчезли. Комната была большая, белая: сводчатый потолок, одеяла, простыни, покрывала — все белоснежное. Пол был выложен голубым кафелем, и среди этой холодной блестящей голубизны, на террасе, стоял белый столик и два белых плетеных шезлонга. С террасы открывался вид на пинии и тамариски (два оттенка зеленого),

* Картезианский монастырь.

на белые купола и террасы, а дальше, в глубине за пиками скал, было море. На голубом море — большая голубая яхта, недвижимая, чуть покачивающаяся, и за ней — стремительно мчащийся белый катер.

Они не сразу вышли из дома, потому что предались любви, а потом она съела половину красно-зеленого арбуза, управляясь пальцами, и — странное дело — во второй раз улыбнулась. Только потом они отправились по Трагарской дороге до самого мыса. Ничего не сказав, не объяснив ей, что им предстоит увидеть, он начал спускаться меж пиний по направлению к «фаральони»*. Он ожидал ее реакции, но она смолчала, лишь снова сморщила носик и раздула ноздри, чтобы вдохнуть запах смолы. А он, как и в прошлые разы, стал смотреть сверху на два утеса, взметнувшиеся из голубой бездны в ленивой пене мелких летних волн. На их вершины слетелись целые стаи белых, пронзительно кричавших птиц — **планиптеридов** (ему не нравилось называть их чайками или диомедиями, и это название он хранил про себя как дань уважения к автору). Но не смог удержаться и доверил свой секрет жене:

— Ты знаешь, как называются эти птицы?

— Чайки?

— Не знаю, не думаю, мне кажется, это другая порода, редкая и очень древняя. Я называю их планиптеридами.

Она как можно шире раскрыла свои миндалевидные глаза.

— Пла... — начала она и запнулась. От напряжения чуть скосила левый глаз — самую малость.

— Планиптериды,— сказал он и поцеловал ее в щеку.

— Пла-ни-пте-ри-ды,— повторила она очень сосредоточенно, вся уйдя в себя, и для верности взяла его за руку

* Название обрывистых утесов в море у берегов Капри.

и сжала — сильно — своими цепкими пальцами.

Они бегом спустились по длинной тропинке и оказались у подножья утесов. Вошли в купальную кабину, бросили ласты и маски, торопливо разделись и посмотрели друг на друга, обнаженные, в тесном пространстве меж старых досок, пропахших морем и солью; на мгновение крепко обнялись и почувствовали запах друг друга (она ткнулась носом где-то между его шеей и плечом); потом натянули купальные костюмы и спустились к большому естественному бассейну, который море образовало среди скал. Поспешно надели маски и ласты, нырнули, посмотрели друг на друга под водой, сцепили руки и вынырнули. Ее волосы разметались по воде, капли падали с ресниц, в каплях было все лицо, чуть сморщившееся от попавшей в глаза соли и от коротких ласковых порывов ветра, приносившего из узкой горловины первого утеса брызги воды и запах йода. Ему хотелось сказать ей: «Как ты прекрасна!» — ибо сердце ее и вся диковатая натура были прекрасны в своей естественной и свободной независимости. Но он ревновал ее к этой независимости и к этой счастливой красоте, и что-то низменное заставило его сказать только: «Какая ты хорошенькая». Но она, оглушенная и упоенная своей морской свободой, к счастью, не услышала этого.

Держась за руки, они рассматривали под водой, во все более темных глубинах, стаи рыбок (чем глубже они погружались, тем сильнее она сжимала его руку). Двигаясь медленно и легко, они добрались до Монаха*, цепляясь за острые скальные выступы, влезли наверх и улеглись на солнце рядом с крупными ящерицами. Потом снова нырнули в морскую глубину и медленно доплыли до того места, где вошли в воду.

Они пообедали в ресторанчике «У Луиджи» на хлипкой деревянной терраске — зато там была белая скатерть

* Один из утесов-фаральони.

и бокалы тончайшего зеленого стекла, которое сразу запотело от ледяного искийского вина. Серный привкус этого вина смешивался у них во рту с соленой горечью моря, губы отвердели и словно онемели от прикосновения холодного невесомого бокала. Они ели моллюсков с перцем (она высасывала их из раковин своим маленьким ртом, отвердевшим от холодного вина); и тут он поцеловал ее губы, чтоб проверить их онемелость: так оно и было — губы, твердые от холодного вина, а над верхней губой еще осталось чуть-чуть соли. Потом они съели огромного лангуста; она жевала быстро, энергично, с закрытым ртом, но знала ли она, осознавала ли, что именно ест и что значил тот момент, когда она ела? Мужчина, который в те годы мог похвастаться лишь интуицией, спросил себя об этом. Нет, она не знала, она была слишком молода, чтобы осознать это, и слишком голодна; они тут же съели еще поджаренной «моццареллы»* с хлебом.

Потом оба уснули, расстелив матрасик на скале и прикрывшись полотенцем из голубой синельки с большим дельфином, желтой каймой и маленькой монограммой. Он спал, прижавшись щекой к ее чуть вспотевшей щеке; иногда, просыпаясь, ощущал ее влажные волосы на своем плече, а один раз почувствовал, как она во сне несколько раз легко поцеловала его в щеку.

Они были на пляже до заката, снова ныряли, когда солнце уже село, потом вытерлись и быстро поднялись по тропинке среди пиний, оба в испарине.

Ночью они спали на пропитанных утренней свежестью белых простынях, держась за руки, как в море. Окно было распахнуто, и мужчина долго глядел на луну. Был июль, потом настал август, и так прошло лето.

* Сорт мягкого сыра.

Однажды мужчина, который ценил и свою жизнь, и жизнь других, какой бы она ни была, вышел из ванной. Он никогда не смотрелся в зеркало, но тут вдруг кинул взгляд в его сторону, и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы понять все. Тогда он вернулся в ванную, смело и спокойно зажег все лампы и испытующе посмотрел себе в глаза.

«Глаза еще живы»,— сказал он себе, проникая взглядом в черноту зрачка, как будто перед ним стоял вооруженный человек, с которым предстояло сражаться в ночи (или в фильме); но ведь и сам он был вооружен. Кто же выстрелит первым? Шли минуты, никто не стрелял, и они улыбнулись, но не лицом, а где-то в глубине души. И первый заметил улыбку в зрачках второго лишь потому, что оба прекрасно знали друг друга (но, вероятно, могли бы и выстрелить).

«Разве это улыбка? — подумал мужчина.— Ведь в ней нет ничего радостного, в этой так называемой улыбке. Есть одна игра, а еще, конечно же, немного страха, вызов — словом, сплошная путаница. Впрочем, в ней прежде всего слишком много лет, которых я не прожил, но на которые выгляжу».

Мужчина начал насвистывать песенку (он умел это делать хорошо, но свистел крайне редко) "Night and day"*¹, по-прежнему изучая свои глаза: он увидел состарившиеся веки, как будто поблекшие от долгого воздействия высоких температур (выше и ниже нуля) — такие эксперименты дорого обходятся,— и сказал: «Какой все-таки великий музыкант этот Коул Портер! Можно было бы придумать игру, а впрочем, будем сразу играть: какую

* «Ночь и день» (англ.).

песню вы считаете самой красивой на свете?» Он стал насвистывать "Star dust", "The man I love", "Tenderly"* — словом, все, на его взгляд, лучшее в музыке, что подходило под определение «песня».

«Может, "Night and day" и есть самая красивая песня, но я не убежден в этом, хотя, впрочем, почти убежден». И он вспомнил короткие периоды своей, в общем-то, не такой уж долгой жизни, когда в нее вошли эти песни. Ему показалось, что это происходило давным-давно, тысячу лет назад, он уже почти задумался о «существовании» вообще, но жесткий взгляд противника в зеркале, с оружием наготове, не позволил ему отдаться мыслям; и мужчина поблагодарил отражение, сказал даже: "Thank you". Противник подмигнул, как бы говоря: «Не за что».

Он заметил, что волосы его, когда-то светло-рыжие и вьющиеся, теперь поседели и поредели. Раздвинул трельяж и впервые обнаружил, что на макушке волос почти не осталось: так, что-то вроде пуха, какой бывает у мертвых, но еще не окоченевших пичуг или же у новорожденных младенцев. На затылке волос было побольше, виднелись даже отдельные маленькие завитки цвета меди, зато смуглая шея твердо упиралась в голубую полосатую рубашку. Эта деталь настолько приободрила его, что он решил еще раз взглянуть на свое лицо, которое долгие годы вызывало у него раздражение, именно поэтому он никогда не смотрелся в зеркало. Наш мужчина был начисто лишен тщеславия, однако это чувство одновременно и нравилось ему, и вызывало отвращение (и ревность), когда он замечал его в характерах других людей, так как знал, сколь оно необходимо в жизни. Лицо его по сравнению с молодыми годами стало лучше: в нем проявилась решительность, но и какая-то хрупкость, а главное —

* «Звездная пыль», «Человек, которого я люблю», «С нежностью» (англ.).

почти исчез всякий намек на страх. На лбу выделялись три морщины, которые при желании могли бы стать глубокими складками, еще две складки шли вертикально вдоль ноздрей, кожа, к счастью, сохранилась прилично.

«И Пиаф была великой певицей, и Ив Монтан тоже». Он просвистел "Milord", сразу же за ним "La vie en rose"* , вспоминая при этом наибанальнейшие достопримечательности Парижа (Эйфелеву башню, Сену, холодное «божоле», улицу Якобинцев), но в конце концов пришел к выводу: «И все же "Night and day" лучше, лучше, и ничего здесь не поделаешь».

Мужчина заметил, что одна морщина спускается от виска на щеку и подбородок. Точнее, между ухом и виском морщин было три, но две из них обрывались тут же, а третья, настоящая, упрямо шла до самого конца.

«Потом появятся еще две — из этих вот малышек, которые только намечаются, но я не буду прятать их под баками по примеру молодящихся стариков, которыми заполнен весь мир. Нет, я не стану скрывать их и даже, раз уж они появились на свет, когда пришло время, дам им спокойно расти: сначала медленно-медленно, а потом незаметно, в один миг, они созреют: так растут мальчики, которые — вдруг взглянешь на них — уже стали мужчинами. Или девочки? Я бы предпочел девочек, которые сейчас еще в пеленках, да, я хотел бы две женские морщины. Сначала это будут девушки-гимназистки, позднее — элегантные женщины, чистые и легко краснеющие, по-настоящему скромные, — и пусть так длится целую жизнь. А вот эта морщина явно мужская — ни следа застенчивости и чистоты, нет даже намека на стыдливость. Эта идет своим путем самца-идиота, уже сделавшего карьеру. Чудненько!

А рот? — задал он новый вопрос, хотя и видел, что

* «Жизнь в розовом свете» (франц.).

двойник не имеет ни малейшего желания слушать его. Тем не менее он все же стал вглядываться в зеркало. — Губ нет,— подумал он,— почти нет, рот кажется раной, причем лишенной даже той красоты, которой может обладать шрам, плотный, прекрасно заживший, с нежной кожей. Нет, это вечная рана, страшный рот, который следует держать закрытым, так, чтобы он казался просто складкой, не более». Рот вызывал у него мощный прилив раздражения, усилившегося еще и ощущением презрения и высокомерия по отношению к чему-то сущему «низшего порядка».

«Мог бы я с таким ртом стать расистом? — Но его мысль тут же перекинулась на другое. — «Душа и сердце» — разве плохая песня? — (На этот раз он спел.) — Но и «Не будь глупцом сегодня вечером, мой Рим» — тоже хорошая. А «Что, если завтра?..» Нет, нет, все они хороши, но первые две и хороши, и красивы, как все чисто итальянское, или, может быть, они таковы именно потому, что стали (или же родились) типично итальянскими. Впрочем, и «Что, если завтра?..» тоже итальянская песня, и Мина — итальянка, но и песня, и певица не превратились в «типичный образчик» — словом, хорошая песня, не более. Интересно, а нравится ли она иностранцам, знают ли американцы «Что, если завтра?..». Не знают — тем хуже для них, как хуже и тысяча других вещей: ведь они имели и потеряли Коула Портера, Гершвина и ему подобных, а потом больше ничего и не было. Нельзя сейчас, да и никогда и никто не сможет сказать: «Портер, Гершвин и Сыновья». Боб Дайлен и прочие не идут с ними ни в какое сравнение».

Он услышал голос двойника: «Ты говоришь так, потому что стар, если бы ты был молод, Боб Дайлен нравился бы тебе больше». «А вот и нет,— агрессивно ответил мужчина (готовый стрелять),— я бы всегда любил Портера, Гершвина и "Star dust", так как у меня всегда нашлись бы доброта, справедливость, вкус и чувство, чтобы снова

выбрать их».

«Все дело в том, что ты стар, хотя и не достиг старческого возраста»,— сказал двойник спокойно и не выказывая никакого страха перед оружием. Лицо мужчины померкло, но в то же время на его губах заиграла легкая улыбка, опять та, которую только они двое, лишь эти двое в мире, которые все время настороженно наблюдали друг за другом, могли понять.

«Мне нравятся битлз»,— ответил мужчина, желая взять реванш. Большим пальцем он щелкнул по сломанной переносице и приготовился к финальному матчу. «Но ты же предпочитаешь "Night and day"»,— спокойно сказал двойник. Оба засмеялись: им в самом деле было весело в ту минуту. Обозначились зубы, крупные и крепкие, пожелтевшие от табачного дыма и уже с несколько ослабевшими деснами, однако все еще красивые, поблескивающие. И тем не менее единственной впечатляющей деталью лица были глаза — серые с черным ободком; черным глубоким зрачкам был неведом страх — ни перед чем: это был цвет Балтийского моря или Гамбургского порта, когда дует ветер — в ноябре, декабре.

Противник посмотрел на него, уже обезоруженный, уже бросивший шутки, и даже, хотя это длилось лишь секунду, посмотрел по-доброму и по-дружески. «Тебя не страшит даже Она?»,— спросил он тихо и чуть хрипло, имея в виду смерть, а потом пустоту. Красивые глаза мужчины на мгновение заглянули внутрь самих себя и увидели там несколько картин прошедшей жизни, при этом он не свистел, но ему показалось, что он насвистывает «Страсть» — песню своей матери. В такой момент ему следовало отвечать, и только правду. «Нет,— ответил он после долгой паузы, глядя на двойника точно так же, как тот смотрел на него.— Нет, даже Она». И он почувствовал, что возраст "Night and day" окончился как раз в ту секунду.

F

СЧАСТЬЕ
ГОЛОД

FELICITÀ
FAME

В один из жарких летних дней 1944 года в окрестностях Падуи плескалась в канале компания подростков. Места вокруг были ровные, без единого дерева, желтели свежие хлебные снопы на сжатых полях, оглушительно трещали цикады, в мелкой воде просвечивало поросшее водорослями желтое илистое дно с лягушками. Рядом был мост, и ребята видели, как в полдень по нему прошли два парня в белых костюмах, галстуках и с пистолетами в руках, а за ними — несколько человек в военной форме с автоматами. Казалось, они что-то ищут: осмотрели снопы, потом пару раз выстрелили и наподдали курам, которые, подняв тучу пыли, с кудахтаньем разлетелись в стороны.

В тот день к ребятам присоединился молоденький немецкий солдат в гипсовом корсете, поддерживающем шею. Его звали Фриц, у него был аккордеон и парабеллум в большой черной кобуре, который он разобрал на глазах у замороженных ребят. Один из них, Роберто, привел с собой двоюродную сестру, приехавшую из Милана, светло-волосую и загорелую, звали ее Коралла; у нее были проколоты уши и в них вдеты крошечные сережки — колечки с жемчужинкой; когда она выходила из воды, сережки сверкали на солнце. Коралла была «эвакуированная»: Милан сильно бомбили, объяснила она Джаннетто, сыну фашистского федерале, но очень симпатичному пареньку, а он ей сказал, что знает некоторые миланские улицы — например, улицу Доницетти и улицу Моцарта. Нельзя же было в самом деле считать Джаннетто фашистом только из-за того, что у него отец — федерале; держался он тише воды ниже травы и ничем не интересовался, кроме футбола и одной молоденькой родственницы, к ко-

торой ходил иногда в гости после обеда. Одному из ребят — Марио Фоскарини — шел семнадцатый год (он был старшим в компании); едва взглянув на Кораллу, когда Роберто ее со всеми знакомил, он прыгнул в воду и долго не выныривал — минуты две, а то и три. Марио был также самый красивый из ребят и выглядел по сравнению с ними почти мужчиной: у него были длинные черные кудри, которые, когда он выходил из воды, пахли свежим хлебом.

На Марио, Фрица и Кораллу с завистью смотрел Максимилиано, или Макс, как его звали в компании, но зависть эта была особая, больше похожая на восхищение: он признавал их превосходство над собой. Ему казалось, что от них веет духом победителей: в их чистоте, в их фигурах было что-то эффектно-героическое, под стать тем молодым фашистам в белых костюмах, для которых по красоваться с пистолетом было все равно что пригладить волосы и которые шли по пыльному полю под кудахтанье кур. «Почему если франт, то обязательно дурак?» — думал Макс и представлял себе, как этих парней с фашистскими значками в петлицах белых пиджаков рано или поздно поставят к стенке.

Коралла знала немецкий, и, поплавав баттерфляем, она, не выходя из воды, разговаривала с Фрицем, который сидел, потев в своем корсете, на берегу, в грубых защитных штанах, коротких кованых сапогах и с аккордеоном на плече. В компании было еще трое ребят, совершенно бесцветных и, если не считать одного с шестью пальцами на ноге, ничем не примечательных. Появление Фрица, приезд из Милана Кораллы, чье загорелое тело покрывал светлый нежный пушок, запах волос Марио Фоскарини вызвали у всех ощущение какого-то беспокойного ожидания, прежде ни разу у них не возникавшее, и вообще возникающее крайне редко, лишь накануне важных жизненных перемен. Это ощущение с особенной остротой охватывало их дважды: первый раз — когда

все почувствовали аромат свежего хлеба, исходивший от волос Марио Фоскарини, а второй — когда Фриц сказал Коралле: "Du sheinst deutsches Mädchen zu sein" («Ты похожа на немецкую девушку»), и она ответила ему: "Ich bin Italienerin" (Я — итальянка).

Помимо «объективных» обстоятельств, таких, как загородная местность, жара, война и конец чего-то, было еще три других, придавших особую значительность этим фразам: чистое немецкое произношение, сочетание двух разных по тембру голосов (женского у Фрица и мужского у Кораллы) и гордый тон, каким было сказано это «я — итальянка», заставивший Фрица опустить глаза.

Они поели хлеба с копченой колбасой, яиц, персиков, выпили минеральной воды. Фриц ел только свой черный хлеб, намазав его смальцем, и отказывался от всего, что предлагали ему ребята, каждый раз говоря «спасибо». После еды Фриц заиграл на аккордеоне. Вместе с Кораллой они спели сначала «Лили Марлен», а потом по два раза «Луговой цветочек» и «Нам было с тобой хорошо» — на немецком и итальянском; и еще Марио Фоскарини учил Кораллу танцевать. Потом все вдруг заскучало, и в наступившей тишине стало слышно, как трещат цикады, где-то вдалеке квохчут куры и как переговариваются Джаннетто с Максом — закадычные друзья, несмотря на политику. Макс знал, что Джаннетто очень любит его, хотя из них двоих инициатором дружбы был Макс, а Джаннетто ее охотно принимал. Слушая Макса, Джаннетто смотрел на него точно так же, как Коралла смотрела на Фрица, — не глядя или, точнее, глядя словно бы сквозь него и в то же время думая о том, чтобы утаить направление своего взгляда. Неожиданно Коралла попросила Фрица показать ей парабеллум, и, когда взяла в руки пистолет, было заметно, как она волнуется. Их колени соприкасались, и Фриц снова повторил: "Deutsches Mädchen", но Коралла ему ничего не ответила.

Как раз в это время послышался далекий гул.

— Flugzeuge*,— сказал Фриц, и все посмотрели на белое от зноя небо.

Гул усиливался и распространялся по небу, хотя самолетов не было видно; он шел с юга, заставляя смолкнуть все остальные звуки: цикады и те затихли. Потом замелькали далекие вспышки, и в вышине показались сверкающие на солнце самолеты — три большие эскадрильи, летящие углом.

— Давайте посчитаем,— сказал Джаннетто,— я никогда столько не видел.

Когда самолеты уже были у них над головой, Макс сказал со странной радостью в голосе:

— Тридцать шесть.

Но гул не прекращался: на смену одной затихающей волне в небе поднималась вторая, за ней — третья. Почти полчаса на большой высоте летели самолеты, и Макс не переставая их считал. Где-то далеко замычали коровы. Один самолет отстал и когда, теряя высоту и оставляя за собой дымный хвост, пролетал над ними, ребята впервые в жизни увидели американскую звезду; от фюзеляжа отделились четыре маленьких шарика и один за другим превратились в парашюты. Затаив дыхание, ребята провожали глазами зеленые, плавно спускающиеся парашюты, стараясь разглядеть под ними людей — американцев, которых они никогда не видели.

Из-за холмов, окутанных туманом, слышались взрывы и грохот, поднимались клубы дыма.

Макс ясно увидел, как у Фрица расширились зрачки и глаза стали почти черными.

— Это в Вероне,— сказал он,— война скоро кончится.

* Самолеты (нем.).

Однажды в августе 1968 года низкие черные тучи мчались над городишком восточной Нигерии, время от времени проливаясь дождем. Крупные капли падали гроздьями, размывая красноватый грунт дорог, и собирались в потоки, устремлявшиеся неизвестно куда. Потом сквозь лесную зелень вновь проглядывало солнце, скопившаяся в ложбинках огромных банановых листьев вода переставала стекать на землю, и последние ее капли ненадолго задерживались на кончиках листьев, прежде чем скатиться вниз. Тут же опять начиналась жара, красноватая земля, просыхая, дымилась, а из-под бананов появлялись негры в голубых и розовых лоскутках нейлона и со смехом, перекликаясь, гонялись друг за другом.

Городок был столицей крошечного, теперь уже не существующего государства под названием Биафра. Основал его некий полковник Ойюкву, получивший образование в Англии безумный негр; в государстве этом несметное количество детей и стариков, выгнанных из лесу войной, содержалось в каких-то загончиках и старых школах; они подыхали от голода, хотя в городке и можно было купить из-под прилавка консервы. Но бежавшие из лесу дети и старики ничего об этом не знали, а если и знали, все равно не сумели бы набрать денег даже на одну банку. Гибель их была выгодна безумному полковнику, который рассчитывал таким образом вызвать у всего мира сочувствие и добиться признания государства; это ему удалось: и людей погубил, и вызвал сочувствие, и добился кое у кого признания. Государство продержалось несколько месяцев, война окончилась, а миллионы людей исчезли с лица земли.

В одном из загонов, открытых солнцу, теням от черных туч и внезапным ливням, некий человек, европеец, наблюдал за голым ребенком. Мальчик не был уже ни чернокожим, ни темноволосым: от недостатка белков волосы его порыжели, тело стало почти розовым, будто его освежали. К тому же он был так худ, что лицо казалось вываленным на солнце, а вокруг глаз залегли глубокие морщины; шеи, щек и губ не было вовсе. Пальцы на руках и ногах — обтянутые кожей косточки — как-то странно подрагивали. Да и все движения этого маленького скелета были замедленные, неуверенные. Он улыбался глядевшему на него человеку и целой толпе снимавших его фотографов — как видно, удивленный и польщенный таким вниманием. То была улыбка столетнего старика, поглощенного каким-то своим делом: улыбался он приветливо, но занятия своего не оставлял.

Человек, давно уже наблюдавший за тем, как мальчуган собирает разбросанные вокруг барака сухие ветки, отметил, что он потратил на это больше двух часов, сначала складывая маленькие кучки хвороста рядом с собой, а затем соединяя их в одну большую кучу. Потом мальчик взглянул на человека, тот понял, достал из кармана зажигалку и поджег эту кучу хвороста, которая сразу занялась, задымила. Мальчик отвел взгляд, сунул руку в щель в стене барака, пошарив там, вытащил проткнутую толстой веткой крысу и стал медленно-медленно обеими руками поворачивать ветку над огнем. Время от времени он, чтобы поддержать огонь, ловко подсовывал новые прутики, ухитряясь не свалить те, что уже пылали и превращались в уголья. Однако он быстро утомлялся, оставлял крысу на огне, и тогда она тут же начинала потрескивать и вздываться. Услышав треск и будто очнувшись, мальчик снова хватался за ветку и принимался вращать ее фалангами очень длинных на вид пальцев с длинными ногтями. Но с каждым разом он дышал все тяжелее, грудная клетка вздымалась и опускалась, будто кузнечный

мех, и немного спустя он опять ронял крысу на угли. Подкладывание прутиков в огонь явно давалось ему легче.

Так мальчик возился минут двадцать, затем, по-видимому окончательно устав, вытащил крысу из огня, отбросил в сторону и растянулся на земле — казалось, заснул. Однако же нет: время от времени он открывал большие черные глаза с ослепительными белками и улыбался человеку.

В эти минуты отдыха улыбался он и фотографам; те сделали свое дело и ушли. Один из них был молодой взопревший толстяк по имени Андре; от его рыжих волос исходил какой-то резкий запах. Андре подмигнул своему шефу, художнику человеку с дыркой от пули в мочке уха и без фотоаппарата, и, явно довольный собственной работой, сказал:

— *Vachement bon!**

Теперь мальчик, должно быть, и в самом деле уснул; раза два или три он вздрагивал, как от кошмара — хотя эта дрожь могла быть и рефлекторной, — и приоткрывал очень белые, выдающиеся вперед зубы. И все же он не спал: человек увидел, как живот-мешочек задвигался, словно там, внутри, сидел какой-то маленький зверек, и на землю вытекло немного желтоватой жидкости. Мальчик открыл глаза, поняв, что с ним случилось, встал, добрел, шатаясь, до какого-то кустика и подтерся его листвой. Затем умылся дождевой водой из пластмассового ведерка и вытерся марлей, которую вытащил из пакета, подвешенного к двери барака. На мгновение человек отвел взгляд, так как по глазам мальчика понял: тот не хочет, чтобы на него смотрели. Он взглянул на него опять, когда мальчик уже привел себя в порядок; малыш улыбнулся и с усердием принялся за дело.

Из щели, где была спрятана крыса, он вынул старый нож и начал соскребать обуглившийся верхний слой кры-

* Самое то! (франц.)

синой шкуры. Это заняло много времени — мальчик все делал медленно и по-стариковски тщательно. Очистив крысу как следует, он приступил к еде, начав с низа спинки. Откусывал понемножку, неторопливо, как будто не испытывая голода, и время от времени довольно равнодушно поглядывал на человека; иногда ненадолго прекращал жевать, чтобы ногтями отделить мясо от костей, а затем спокойно съедал его, рассматривая каждый кусочек, прежде чем отправить в рот.

Опять пошел дождь, человек постоял еще немного на прежнем месте, но дождь мешал ему смотреть, и он укрылся в бараке, куда, бросив остатки крысы на землю, вошел и мальчик. Чтобы попасть в барак, мальчику надо было встать и преодолеть две ступеньки; по этим ступенькам он поднимался долго, держась за дверной косяк, один раз покачнулся и чуть не упал, но человек подоспел вовремя и подхватил его под руку. Мальчик сохранил весьма ненадежное равновесие, балансируя на своих тоненьких палочках, но все же закинул ногу повыше, как делают резвые, веселые дети,— правда держась пальцами за косяк. В бараке человек увидел на полу два детских трупа, рядом с которыми сидела на корточках плачущая старуха. Дождь полил как из ведра и сразу смыл остатки крысы; человек тоже оперся о дверной косяк и смотрел уже не на мальчика, а на потоки ливня.

G

МОЛОДОСТЬ
ГРАЦИОЗНОСТЬ

GIOVENTÙ
GRAZIA

В один теперь уже далекий июльский день некий человек лет двадцати пяти получил открытку от восемнадцатилетней девушки. Открытка эта, изображавшая пляж с тентами и белое здание гостиницы с вьющимися по ветру белыми и желтыми занавесками, была отправлена из Риччоне (Италия) и гласила: «Тут ужасно весело. Привет, Мария». Мария его любила, он ее тоже, но несколько месяцев назад они «расстались» из-за какой-то ерунды, которая представлялась им «необычайно важной».

Молодой человек как будто и не почувствовал утраты, наоборот, даже радовался их разрыву, полагая, что впереди у него целая жизнь. «Она веселится в Риччоне,— беспечно подумал он: ведь никакой трагедии не произошло, каждый из них пошел своей дорогой с легким сердцем.— Что ж, прекрасно. А я поеду в Форте дей Марми». Собрал большой чемодан, сел в малолитражку и уехал. Добравшись до Форте дей Марми (где прежде никогда не бывал), он разыскал своих друзей, которые очень ему обрадовались и тут же потащили в «Хижину» ужинать и танцевать. На женщин он, само собой, поглядывал, однако от волнения и застенчивости был скован, впрочем, ни одна из них ему не понравилась. Все они были богачки либо вертелись вокруг богачей, хладнокровно выжидая, и казались настолько окутанными пеленой холодного расчета, что холодом веяло даже от их прекрасной бронзовой кожи. Они были какие-то бесплотные, лишённые всякого вожделения и вообще каких-либо чувств по отношению к другим мужчинам и женщинам: их манера двигаться, говорить, смотреть напоминала великолепную гладь моря с его то прозрачной, то пенистой синевой, сквозь которую отлично просматривалось дно, и, когда пена отступала, на дне этого синего моря он неизменно различал деньги. И все же в Форте дей Марми

дышалось легко и было очень красиво, правда порой немного ветрено. Он провел два дня среди этих женщин, которые только и думали о деньгах, хоть говорить о них не говорили, и всё вертелись вокруг богачей, как полипы вокруг устриц, а те, улыбаясь, расплачиваясь (по обыкновению своему не слишком щедро), загорая и играя в карты, то и дело смыкали створки раковин.

А полипы тоже улыбались и выжидали. Молодой человек не находил в такой жизни ни красоты, ни счастья. Все это ему скоро наскучило, и он решил уехать; это озадачило друзей и оставило равнодушными женщин, которых интересовали только богачи.

— Отчего же? — все-таки спросила одна.

— Хочу прокатиться вдоль побережья. Может, поеду во Францию.

— А жаль,— сказала женщина и медленно растянула губы в улыбке, словно плавала вокруг моллюска.

Никаких конкретных планов у него не было; изменив себе, он проснулся на рассвете, намереваясь поколесить по лигурийскому побережью, заглянуть в Портовенере, Рапалло, Портофино, пожалуй, еще в Канн, Монте-Карло, а может быть, и в Биарриц. Кто это ему говорил, что в Биаррице волны прямо как в Атлантике? Забыл. Он отправился в путь, побывал в Портовенере, Рапалло, Портофино, но всюду его преследовали беспокойство, тревога, одиночество. В Рапалло он не сумел устроиться ни в одной гостинице и заночевал в какой-то припортовой хибаре с угольным отоплением, прямо за стеной его каморки помещалась выложенная арабским кафелем кухня, казалось впитавшая в себя все застойные, гнилостные запахи Лигурии, столь для него непривычные, что он едва дождался утра.

Все это вконец его растревожило; он отказался от Франции и почему-то решил ехать в Милан; машину вел быстро, для малолитражки даже слишком быстро, и тревога в душе с каждой минутой росла, что-то не давало ему

покою, но что — он понять не мог. Тут-то он и позвонил Марии: она должна была уже вернуться из Риччоне, где у нее наверняка было множество любовных походов. Почему он был так в этом уверен, тоже непонятно — уверен был, и все; ему ответили, что она уехала, ее пригласили в Каннеро друзья, с которыми она познакомилась в Риччоне. Каннеро... где это? Он купил дорожную карту и отыскал Каннеро. Оказалось, это на Лаго Маджоре. Он решил немедленно ехать в Каннеро и, одержимый тревогой, гнал машину без передышки до самого Лаго Маджоре; по пути ему попадались названия «Арона», «Каннобьо», «Стреза» (по правую руку все время простиралась стального цвета озерная гладь) — и наконец он прибыл в Каннеро. Тревога сразу исчезла, сменившись стыдом и страхом. Нужно было искать дом, где гостила Мария, но мешал стыд, и озеро с застывшими на нем солнечными дорожками, похожими на отточенные клинки, внушало страх. Но он принялся упрямо искать дом, где гостила Мария, обошел немало домов на берегу этого свинцового озера, звонил в двери, взбирался на утопающие в зелени холмы и с каждой новой попыткой все больше бледнел; наконец нашел — огромная белеющая среди кипарисов вилла и у берега черная яхта под белым парусом. Вилла была пуста, сторож сказал, что Мария уехала.

Он снова сел в машину и без единой остановки домчался до города, где жила Мария. Тут он облегченно вздохнул, и ему показалось — только показалось, — что мучительная тревога немного отступила, но он позвонил Марии, и ему ответили, что ее нет дома. Возможно, это было неправдой. Тогда он стал бродить по городу в надежде заприметить ее машину или, может быть, увидеть ее в чужой машине, потом его вдруг остановил знакомый и тут же сказал:

— Только что проходила Мария, вы не встретились?

— Нет, — ответил он и услышал свой голос, сдавлен-

ный, как у больного, и спросил себя: «Чем я болен, что это со мной?»

В ту же минуту показалась машина Марии. Он ее не заметил, но знакомый сказал: «Вон Мария», и тогда вяло и неловко, как больной, он слегка повернул голову и увидел ее — в открытой белой машине. Она загорела дочерна, на лице ослепительно сверкали белки глаз и зубы, выгоревшие на солнце волосы были скручены в пучок на макушке, и несколько выбившихся прядок спускались на шею. Не снижая скорости, она блеснула белозубой улыбкой, приветственно взмахнула рукой и поехала дальше. Бледный как полотно, все размышляя над тем, что же у него за болезнь, он вскочил в малолитражку и помчался вдогонку. Она заметила погоню (в машине с нею сидела еще одна женщина), заметила издали и его болезненную бледность и прибавила газу. Он знаками просил ее остановиться, сигналил — сначала отрывисто, потом долгими гудками, потом и вовсе не снимая руку с клаксона, но она мчалась все быстрее, пролетая на красный свет.

— Ты что, с ума сошла? — спросила та, что сидела рядом, благоразумная подруга, типичная представительница благоразумных подруг. — Не хочешь его видеть?

— Нет, — ответила девушка и нажала на акселератор.

И тут с ними поравнялась его малолитражка; он держал руку на клаксоне и был всецело во власти болезни. У него даже поднялась температура.

— В самом деле видеть его не хочешь? — опять спросила благоразумная подруга; ее это забавляло.

— Нет, — сказала Мария и поджала губы.

— Бедненький, — сказала благоразумная подруга и засмеялась, как умеют смеяться только благоразумные подруги.

В этот самый миг он рывком вывернул руль и врезался в машину девушки сбоку. Обе машины остановились у края оврага; красивый английский «спайдер» Марии был разбит (пассажиры не пострадали), благоразумная подру-

га «выразила горячий протест», но молодой и сильный мужчина (именно таким он вдруг почувствовал себя, хотя еще недавно все было иначе) взял ее под руку и отвел немного в сторону.

— Уходите,— сказал он,— я должен поговорить с Марией.

— Ну и манеры,— бросила благоразумная подруга и ушла, стуча каблуками.

Он подошел к девушке, потрогал ее упругую, смуглую, пышущую жаром кожу, ощутил на лице прерывистое, горячее дыхание. Она что-то говорила, но очень тихо и задыхаясь; его губы были возле ее щеки; девушка отстранилась, но он крепко обхватил ее сзади за шею — на руку ему легли пряди волос,— с силой притянул к себе (прохожие останавливались поглядеть на происшествие), прижался губами. Щека тоже была смуглая, жаркая, полнокровная — куда там женщинам из Форте дей Марми, куда там морской синеве, сквозь которую просвечивают денги, куда там девицам богачей!

— Завтра поженимся. А сейчас поедешь со мной, машину оставь прямо здесь,— сказал он, после чего они отправились за город и пробыли до поздней ночи в лесу.

Потом состоялась их свадьба; на девушке было легкое платье для отдыха на море из белого и розового пике, приглашенные «добропорядочные буржуа» как сомнамбулы бродили по залам мэрии, а друг-поэт на своем «мерседес-бенце» выпуска 34-го года отвез их в Венецию и там оставил, улыбаясь той странноватой улыбкой лунатика, с какой поэты взиряют на палящий свет жизни. Они прожили три дня на Лидо в старой гостинице под названием «Реджина», которая теперь уже не существует. Большие окна огромных комнат были затенены глицинией и другими вьющимися растениями, а колокольчики бросали синеватый отсвет на белизну старинных занавесок и простынь.

Загорелая до черноты, с обжигающей кожей, она смотрелась на фоне простынь и своих волос как на снегу. Мужчина (температура у него понизилась) смотрел на смуглое тело на простынях или в ванне или наблюдал, просто так и в бинокль, как она заплывает далеко в тихие, ласковые воды лагуны, по которым время от времени пробегала легкая рябь. Говорила она мало и держалась с той свойственной животным спокойной и неторопливой независимостью, которая позволяла ей вплотную подойти к сути и первооснове самой жизни. Такова она была во всем — в манере ходить, плавать, есть, спать, любить,— то же самое ощущалось в ее свежем, горячем дыхании. Он понимал свою непричастность к этой ее органической связи с жизнью, поскольку не был столь непосредствен, но в ней ему это нравилось, за это он и любил ее.

Прошли годы; время развело молодого человека и девушку по имени Мария. Но как-то недавно он (уже состарившийся) проснулся, как всегда и все старики, очень рано и распахнул окно: в полутьме был виден большой луг со снопами свежескошенного сена, дальше — почти черный лес, откуда доносился крик фазана, над лесом — ясное, ветреное, пахнущее морем сентябрьское небо. Посреди лилового неба причудливо мерцала звезда. Человеку вспомнились дни, о которых шла речь, прежде всего — обжигающая кожа, горячее дыхание, и ему, теперь уже старику, подумалось обо всем этом словом «молодость».

GRAZIA

ГРАЦИОЗНОСТЬ

У мужчины было свидание с женщиной в Венеции, в кафе «Флориан», в половине восьмого вечера. Начиналось лето, оба находились в том особом возрасте (ему испол-

нилось сорок, ей — тридцать пять), когда человеческая душа способна на неожиданные порывы, однако лучше удерживаться от таких порывов, потому что тешить себя иллюзией, будто молодость можно вернуть, поздно и уже бесполезно. Тем не менее они, скорее всего бессознательно, очень хотели вернуть молодость и относились к начинающемуся между ними флирту как к забаве, хотя и не без тайной надежды.

Мужчина приехал из Милана; он немного опаздывал, но, выйдя к площади, не пошел через нее, а обогнул со стороны Бачино Орсеоло, чтобы из-под аркад напротив кафе «Флориан», оставаясь незамеченным, проверить, ждет она его или еще нет. Солнце ушло с площади, столики в тени пустовали, несмотря на играющий оркестр, и только за одним сидела женщина. Из своего укрытия он увидел ее — маленькую, казавшуюся в тени загорелой блондинку «с укладкой», в черной блузке из блестящего тяжелого шелка, напоминающей по фасону русскую косоворотку, и в черных брюках. Перед женщиной стоял бокал, она курила, и мужчина даже издали увидел ее большие, золотистые, чуть навывкате глаза с длинными черными ресницами: она бросала вокруг быстрые взгляды, высматривая его. Постояв немного на своем наблюдательном пункте за колонной, он пошел в ресторан «Куадри», где попросил позвать метрдотеля. Марио, широко улыбаясь, раскрыл объятья.

— Сколько лет, сколько...— начал он, но прервался на полуслове, как бы желая перечеркнуть прошедшие годы, и сообщил: — Есть лангусты.

— Молодец, Марио, не забыл,— сказал мужчина.— Я приду через полчаса, даже раньше. Хорошо бы наверху, Марио. До скорого.— И через площадь направился к «Флориану».

Женщина не сразу заметила мужчину, потому что все время глядела по сторонам своими сияющими глазами, и, когда наконец увидела его в двух шагах от себя,

покраснела. Протягивая ему руку, она приподнялась со стула, словно собираясь встать.

— Как ты элегантна,— сказал он, садясь рядом с ней.

Она засмеялась коротким гортанным смехом, похожим на крик ласточки, и, полагая, что ответ обязателен, безукоризненно вежливо сказала: «Спасибо». Эта загорелая женщина в черном, с зелеными тенями на веках и с брильянтами в ушах, действительно была элегантна, но элегантность эта была особенная: в своей дорогой одежде женщина походила скорее на небогатую девушку, нарядившуюся ради «важной встречи», чем на настоящую даму. Выражение глаз тоже было девичье — наивное и взволнованное,— и это растрогало мужчину. По тому, как она нарядна и возбуждена (до этого они виделись всего трижды), он вдруг понял, что она не солгала, сказав ему в прошлый раз: «Я никогда не бывала в «Куадри», только мечтала». И он тогда пообещал сводить ее в «Куадри» поужинать.

Появился официант, мужчина не стал заказывать аперитив, а женщина, которая до этого пила «негрони», попросила еще порцию и, взглянув на мужчину, снова засмеялась своим коротким гортанным смехом.

Мужчина увидел на столе черную бархатную сумочку, а рядом с сумочкой — белый бумажный пакетик. Женщина взяла пакетик со стола.

— Я давно хотела сделать тебе подарок, но не могла подобрать ничего подходящего,— сказала она.— Надеюсь, тебе понравится.— И протянула ему.

— Большое спасибо,— несколько неестественным тоном поблагодарил мужчина, не зная, что сказать.

Развернув пакетик, он увидел маленькую серебряную солонку в форме рыбы.

— Во всяком случае, это подарок со значением,— добавила женщина.

Абсолютно не представляя себе, какое значение может иметь подарок, мужчина снова сказал:

— Спасибо,— и, не находя в себе решимости спросить о значении подарка, добавил: — Очень изящная вещица.

Повертев солонку в руках, он заметил выгравированное внутри имя известного ювелира, и это тоже его растрогало — ведь именно он говорил ей, что ювелир известный,— но одновременно и смутило, так как, вероятно, должно было объяснить ему смысл подарка; однако он не мог припомнить ничего, равным счетом ничего, касающегося их двоих, что имело бы хоть малейшее отношение к соли, солонкам или рыбам. Наконец с излишней, как ему самому показалось, поспешностью он сунул солонку в карман.

Оба прекрасно знали, что сегодняшнее свидание предполагает ужин в «Куадри», о котором она мечтала и который он обещал ей несколько месяцев назад. Но, как бывает, когда планируешь задолго вперед или заранее что-то обещаешь, оба, пожалуй, предпочли бы не ходить в ресторан, а провести вечер совершенно иначе — быть может, даже куда-нибудь уехать. Впрочем, женщина в этом не была уверена, более того — давно назначенное свидание с определенной и, по ее понятиям, шикарной целью волновало воображение. Зато мужчина, который бывал в «Куадри» столько раз, знал, что в этот ресторан приятнее всего заглянуть неожиданно, оказавшись поблизости: пройти мимо столов, занятых англичанами, и освещенных зеркал, когда в июльской или августовской Венеции яблоку негде упасть; а сейчас он боялся пустоты верхнего зала с красной драпировкой, белизной скатертей и пустующими на столах до самого закрытия бокалами зеленого венецианского стекла. От этой картины ему стало немного не по себе, но, когда он посмотрел на женщину, потягивающую свой «негрони», на ее порозовевшие щеки и ярко заблестевшие глаза, ему не хватило духу поменять программу.

Дул свежий ветерок, купола собора Святого Марка сверкали в лучах заката, по площади прогуливались япон-

цы в прозрачных раздувающихся плащах. «Скоро станет совсем прохладно,— подумал мужчина, видя, что черная шелковая блузка надета у нее прямо на голое тело,— и она, несмотря на «негрони», начнет дрожать от холода». Она и в самом деле поежилась.

— Тебе холодно? — спросил мужчина, надеясь услышать отрицательный ответ. Иначе он не знал бы, как поступить, перспектива перейти внутрь «Флориана» не казалась ему заманчивой, поскольку нарушала тщательно разработанный план вечера.

Однако женщина, улыбнувшись красивой белозубой улыбкой, ответила:

— Чуть-чуть, но это неважно.

Прошло еще немного времени; женщина напевала хрипловатым голосом и покачивала головой в такт музыке, но музыканты, игравшие с долгими ленивыми паузами, вдруг молниеносно убрали свои инструменты в чехлы и бесшумно исчезли, оставив на опустевшей эстраде пюпитры. Мужчина воспринял это как сигнал, но женщина, казалось, не заметила бегства оркестрантов и продолжала напевать, покачивая головой. Мужчина украдкой посмотрел на нее и, любуясь ее красивыми губами, зубами, янтарной кожей, порозовевшей на скулах от «негрони», и особенно большими горящими глазами, почувствовал, как у него сжимается сердце. Ни с одной женщиной он такого не испытывал. Что это? Он не знал, но вспомнил, что подобное с ним уже было в детстве, когда он бежал с отцовскими туфлями в руках за пьяницей нищим, которого не пустили на порог, и умолял его взять их; тот, все поняв, посмотрел на него добрыми серьезными глазами, взял туфли и вежливо сказал: «Спасибо».

У мужчины сжималось сердце, но он собрался с духом и сказал как можно непринужденнее:

— Я немного проголодался, а ты?

— Тоже,— просто ответила она, тут же поднялась и, взяв сумочку, добавила с улыбкой: — Мы в «Куадри»

или еще куда-нибудь?

Мужчина не понял этой улыбки: то ли она означала, что не обязательно идти в «Куадри», а можно куда-нибудь еще, то ли, наоборот, должна была подчеркнуть, что женщина не забыла о его давнем обещании. Он посмотрел на нее и вздохнул: улыбка, безусловно, означала последнее, в ней чувствовалась особая радость оттого, что мечта наконец сбывается.

Они медленно пошли, ветер надувал черную блузку, женщина мягко продела пальцы под руку мужчины и сжала ее. Марио, метрдотель, встретил их с поклоном (он уже ждал, поглядывая на дверь), проводил на второй этаж (верхний зал был абсолютно пуст) и усадил за столик у окна, ловко перевернув опрокинутые вверх дном зеленые бокалы. Мужчина и женщина сидели вдвоем в углу большого красного зала, в центре стола стояла свеча, за окнами темно, и на площади уже зажглись лиловые фонари.

Лангусты оказались на славу, белое, почти бесцветное «Помино ди Фрескобальди» было холодное и очень сухое, еще Марио принес для нее мороженое с орешками (фирменное), которым мужчина не соблазнился бы ни за какие сокровища. Ей же не терпелось попробовать, и она стала есть, облизывая уголки губ, как котенок.

Положив свою черную бархатную сумочку сначала на стол, потом на стул позади себя, потом на колени, женщина теперь, не зная, куда бы еще ее пристроить, поскольку ни один вариант не казался ей достаточно приличным, бросила быстрый взгляд на стоящих без дела официантов во фраках и, нагнувшись, опустила ее на пол. Движение, каким она это сделала, как и предыдущие манипуляции с сумочкой, было не робким, не стыдливым или смущенным, а проворным, почти хитрым, словно предназначалось официантам, специально поставленным здесь, чтобы следить за приличными манерами; и хотя они промолчали из уважения к ее спутнику, но, надо

думать, остались недовольны, что она положила маленькую сумочку на стол (слишком большой), на стул, на колени.

С щемящим сердцем проследив за всеми этими вкрадчивыми, по-кошачьи грациозными движениями, мужчина вернулся к беседе. Она рассказывала, что знает Рим — была там много лет назад, когда собиралась замуж за одного римлянина.

— Римские trattorie под открытым небом, западный ветерок...— сказала она, вспоминая, и глаза ее растроганно заблестели.

Неожиданно она спела на римском диалекте популярную в те годы песенку. Пела она низким, чуть хрипловатым голосом, покачивая головой, и поскольку они были единственными посетителями, официанты тоже слушали. Слегка растерявшись, мужчина взял ее маленькую руку и легонько сжал.

— Почему вы не поженились? — спросил он.

— Видно, не судьба. Моя близкая подруга, самая близкая, подложила мне свинью — увела его...— сказала женщина, и глаза ее увлажнились.— Мама мне всегда говорила, что я чересчур доверчива. А впрочем, оно и к лучшему,— добавила она, очаровательно улыбнувшись сквозь слезы,— ведь он был простой инженер.

H

ГОСТИНИЦА

HOTEL

Однажды зимой 1943 года в альпийский городок под названием Азиаго приехал тринадцатилетний мальчик. В Италии шла война; маленький дымный поезд долго карабкался в темноте по горам, пока не забрался на самый верх и не остановился на темной станции, где в тумане раскачивался одинокий фонарь с синей лампочкой. Мальчик, одетый в брюки гольф и новое пальто из вигони, тяжелое, холодное и очень колючее, держал в руке неуклюжий фибровый чемодан, и тусклый свет фонаря раскачивал тень от чемодана на мокром, почерневшем снегу. Мальчика встречал очень высокий мужчина (метр девяносто два) в длинной черной шубе, в гетрах и в широком галстуке бабочкой — синем с белыми горошинами. Мальчик раньше всего увидел этот галстук, выделявшийся на фоне белоснежной рубашки. Этот человек был отец его товарища, какой-то фашистский начальник.

Улыбнувшись с высоты своего роста, он сунул под мышку бамбуковую трость и вскинул руку в римском приветствии — своего рода щеголеватое политическое «чао», — после чего слегка шлепнул мальчика по затылку. Мальчик не видел городка, не видел дороги — ничего не видел: было затемнение, мальчику показалось даже, что здесь, в горах, оно соблюдается строже и тщательнее, чем в городе, где он живет. Поэтому он старался не отставать от своего спутника, который уверенно ступал по растаявшему снегу, хотя и был в легких лакированных туфлях. Время от времени мужчина доставал из кармана маленький фонарик (его стекло было выкрашено в цвета итальянского флага) и направлял трехцветный пучок света под ноги, на грязный снег.

Вдруг он остановился, его туфли скрипнули: перед ними была стена. Мужчина отогнул от стены обледеневшее

шерстяное одеяло, и под ним мальчик увидел дверь из матового стекла с надписью «Гостиница». Они вошли, их встретила, улыбаясь и кланяясь, светловолосая женщина и, взяв чемодан, поставила его возле конторки. От пузатой печурки на низеньких ножках тянуло дымком. Мужчина объяснил мальчику, что ночевать он всю неделю будет здесь, поскольку у него гостит один «соратник» с женой и в доме больше нет места.

— Сегодня к нам идти уже поздно: не обернуться до комендантского часа, ты уж тут поужинай и ложись спать. А завтра утром Франко зайдет: ему не терпится с тобой повидаться.— И снова легонько шлепнув мальчика по затылку, мужчина ушел. Некоторое время слышался скрип его лакированных туфель.

Блондинка, взяв чемодан, отвела мальчика в комнату с белыми деревянными полами, двумя белыми кроватями и фаянсовым прибором для умывания (таз, кувшин, ведро для грязной воды). Здесь тоже топилась небольшая печь и приятно пахло смолистыми дровами. Женщина сказала, что чуть погодя он может спуститься к ужину, и с поклоном вышла, закрыв за собой дверь.

Мальчик огляделся по сторонам: в гостинице он ночевал впервые. Ему сразу же захотелось узнать, как эта гостиница называется, но он вспомнил, что на дверном стекле не было никакого названия. Решив, что спросит потом, он открыл чемодан (чемодан был заперт на ключ и перевязан шпагатом) и начал раскладывать по ящикам свое имущество. На мраморной крышке комода он разложил книги, тетради, ручки, перья, поставил бакелитовую чернильницу-непроливайку.

«Я в гостинице,— с наслаждением подумал он.— Я один в гостинице». И прошелся взад-вперед по комнате, на цыпочках, чтобы внизу не было слышно его шагов. Потом отворил дверь и посмотрел, какой у него номер комнаты: на белой эмалированной пластинке овальной формы стояла синяя цифра «3». Тщательно все осмотрев (в одном

из ящичков комода обнаружился ветхий молитвенник в перламутровом переплете, а между страниц — засушенный эдельвейс), он обратил внимание, не сразу правда, на одну странную вещь: поперек каждой кровати лежал сложенный пополам большой белый пуховик, а верхней простыни не было. Как же он будет спать? Боясь помять постели, он попытался представить себе это мысленно: «Я ложусь под пуховик, но он короткий, значит, ноги будут торчать наружу». Такого сюрприза он никак не ожидал и растерялся: главным образом его беспокоило, что придется обращаться за разъяснениями, показав тем самым, что раньше он в гостиницах никогда не останавливался. Не станет он никого спрашивать, как-нибудь сам разберется. Занятый этими мыслями, он спустился по белой, пахнущей мылом деревянной лестнице. Рядом с входной он увидел широкую стеклянную дверь, которую прежде не заметил. Она вела в небольшую обеденную залу, где стояло всего несколько столов: два были накрыты к ужину, остальные застелены зеленым сукном. За одним из накрытых столов сидел человек. Из двери, ведущей, видимо, в кухню, появилась светловолосая синьора и, не переставая кланяться, пригласила мальчика садиться. По-итальянски она говорила плохо, а может, это был какой-то незнакомый ему диалект. Хозяйка спросила, не хочет ли он вина, и мальчик первый раз в жизни произнес:

— Четверть литра красного.

На столе лежал черный хлеб крутой выпечки, но всего два тоненьких ломтика, и мальчик, которому очень нравился такой хлеб, пожалел, что не удастся прихватить кусочек с собой и пожевать ночью в постели. Вошла синьора с подносом, на котором стояли две глубокие тарелки, и, подойдя сначала к мальчику, потом — к мужчине, подала им поленту с молоком и еще, на отдельном блюде, джем, правда совсем чуть-чуть.

Молоко было настоящее, свежее (мальчик уже много

месяцев такого не пил, и оно напомнило ему время, когда он был маленький); поглощенный едой, он бросил взгляд на незнакомца, и ему показалось, что тот не ест. Незнакомец тоже поглядел на мальчика и улыбнулся. У него были длинные раскосые светлые глаза; тонкие и очень черные брови тоже были длинные, с приподнятыми к вискам, словно подведенными, концами; волосы волнистые, рыжеватые; даже сидя он казался высоким. Мальчику почему-то вдруг стало страшно: про таких принято говорить «красавец-мужчина», и, хотя незнакомец был в обычной городской одежде, мальчик подумал, что он киноактер, и вспомнил фильм «Горький чай генерала Йена», который смотрел три раза.

После поленты хозяйка принесла свежий сыр и тушеную капусту. А потом еще печеные яблоки. Вино мальчик пить не стал, вспомнив, что мешать молоко с вином вредно.

В столовой, освещенной тусклой желтоватой лампочкой, было тихо и слышалось тиканье больших круглых часов на стене; вдруг из них выскочила кукушка и восемь раз прокричала «ку-ку». Мальчик, ни разу не видевший часов с кукушкой, испугался и, вскочив с места, стоя слушал, как она кукует. Когда он, бледный, с бьющимся сердцем, снова сел, мужчина улыбнулся.

— Это часы с кукушкой,— сказал он, продолжая улыбаться, и мальчик понял, что он тоже иностранец.

Казалось, прочитав его мысли, незнакомец приподнялся со стула, поклонился и сказал:

— Меня зовут синьор Крона.

Потом вышел из-за стола и, подойдя к мальчику, протянул ему плитку швейцарского шоколада. Едва мальчик взглянул на шоколад («Линдт», молочный), у него потекли слюнки. Он отломил дольку.

— Бери все,— сказал мужчина и снова улыбнулся: у него была красивая улыбка киноактера.

Мальчик поблагодарил и спросил:

— Вы иностранец?

Мужчина замялся (всего на несколько секунд), улыбка исчезла, но тут же появилась снова, как луна из набежавшего облачка.

— Я с Балтики,— ответил он,— Балтика.

Мальчик понятия не имел, что это за страна и где она находится, да еще ударная «а», произнесенная низким голосом как «о» (Болтика), сбила его с толку. И он понял по-своему: наверно, какой-нибудь барон.

В это время появилась хозяйка, она обменялась с мужчиной несколькими фразами по-немецки и, кланяясь, сложив руки и просительно улыбаясь, обратилась к мальчику:

— Синьор Крона путешествует, заехал вот сюда на поезде, а у нас ни одного свободного номера. Если вы не возражаете, он переночует в вашей комнате, на свободной кровати. Только сегодня. Не откажите в любезности.

Мальчика охватила паника: это же его комната. Он забормотал что-то, упомянул фашистского начальника, посмотрел на синьора Крону, который, улыбаясь ему, курил сигарету в мундштуке большими затяжками, и в конце концов согласился.

— Спасибо, большое спасибо,— сказала хозяйка и опять поклонилась.

Ночью мальчик спал плохо, часто просыпался. И каждый раз видел в темноте огонек сигареты, слышал, как она потрескивает во время затяжки. Заметив, что мальчик не спит, синьор Крона из темноты говорил что-нибудь красивым низким голосом, и мальчик засыпал. Два или три раза он просыпался оттого, что синьор Крона (который, кстати, объяснил ему, как пользоваться белым пуховиком) заботливо укрывал его. Проснувшись в очередной раз, он увидел в отсветах горящей печки два длинных, ярко светя-

щихся, точно у кошки, глаза. И еще сквозь сон слышал, как синьор Крона почти бесшумно подкладывает в печку дрова, как попыхивает сигаретой, слышал стук мундштука о пепельницу, когда сигарета кончалась, чирканье спички — синьор Крона снова закуривал; чувствовал душистый запах дыма, странного дыма, отдающего травами.

Возможно, он сказал это вслух: во всяком случае, почувствовав жажду, он увидел в комнате свет, а синьор Крона, в шелковой пижаме, улыбаясь, зажав белоснежными зубами мундштук, стоял перед ним со стаканом воды.

— Меня знобит,— сказал мальчик. Синьор Крона положил ему на лоб свою тонкую красивую руку, прохладную и пахнущую мылом, потом из маленького мешочка, где у мальчика лежали деньги (совсем немного), достал градусник и дал ему померить температуру. Потом, взглянув на градусник, он сказал, что все в порядке, приоткрыл окно, хорошенько укрыл мальчика и сел рядом на край кровати. Кажется, мальчик спросил его, что такое «Балтика», и, услышав голос синьора Кроны, окутанного табачным облаком: «...Балтика... большое море...» — снова погрузился в сон.

Утром ненадолго выглянуло солнце. Синьора Кроны не было, он уже встал, оделся, вынес свой чемодан из свиной кожи и даже застелил постель. Можно было подумать, что он вообще никогда не переступал порога этой комнаты.

Мальчик встретился со своим школьным товарищем (тот в апокалипсическом экстазе все время декламировал: "*Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla*"*, и мальчик заскучал), увидел его отца и рассказал ему про синьора

* «День гнева, этот день повергнет мир во прах» (лат.).— Томмазо де Челано (1215? —1260).

Крону. Великан расвирепел, стал чертыхаться и помчался в гостиницу делать выговор хозяйке. Друзья отправились на прогулку и, гуляя по снегу под хмурым небом, услышали выстрелы. Вернулись они уже затемно. Мальчик совсем не так представлял себе зиму в горах, и ему уже хотелось домой. Они наспех поужинали, отец товарища отвел его в гостиницу, желая удостовериться, что в номере он будет один, и хозяйка взглянула на мальчика с неприязнью. Когда фашистский начальник ушел, мальчик сел в столовой и, глядя на часы, стал поджидать синьора Крону. Ни о чем не подозревая, он удивлялся его отсутствию и недоумевал, почему у хозяйки был такой злой взгляд. Он вышел в холл и спросил, где синьор Крона.

Женщина посмотрела на него пристальным ненавидящим взглядом.

— Синьор Крона уехал.

— Куда уехал? — спросил он тихо и недоуменно.

— Уехал, я не знает, далеко-далеко,— скороговоркой сказала она, махнув рукой, словно отгоняя дым, и добавила, будто плюнула в него: — Доносчик!

Мальчик почувствовал слабость в коленях, жгучий стыд захлестнул его. Он все понял. И тут в ночной тишине отчетливо раздались три выстрела, почти без перерыва — один, другой, третий. И следом — легкий шорох на снегу, будто кошка пробежала. Оба застыли. Женщина, не сводя глаз с мальчика, дрожащими пальцами вынула спичку из большого коробка и закурила сигарету. Потом еще раз повторила шепотом:

— Доносчик!

Прошло несколько минут, вдруг дверь распахнулась (мальчик увидел надпись «Гостиница»), и на пороге появился пожилой человек в военной форме; он сказал, задыхаясь:

— В начальника полиции стреляли, дверь не закрывайте... — и вышел.

Мальчик бросился за ним и увидел на темной площади мечущиеся огоньки и чьи-то тени. Луна неслась сквозь облака, исчезая в них и вновь проглядывая в вышине. На снегу, в свете электрических фонариков, мальчик увидел распростертое тело рослого мужчины. Это был отец его товарища, мальчик его узнал сразу, по галстуку.

I

ПРОСТОДУШИЕ
ИТАЛИЯ

INGENUITÀ
ITALIA

Первого августа одна сорокалетняя женщина, чье красивое, с очень правильным овалом лицо походило на лик буддийской монахини, получила срочное письмо. Она давно жила одна, довольствовалась старыми письмами и фотографиями и корреспонденции почти не получала; письмо было от мужа, с которым она не виделась, но который время от времени проявлял о ней заботу.

В письме был банковский чек и кое-какие рекомендации: потратить деньги по своему усмотрению, в зависимости от потребностей (женщина служила в конторе, работала очень добросовестно и старательно, но получала гроши, а прибавки просить стеснялась), лучше всего было бы провести на них отпуск у моря или в горах — где ей захочется. Правда, он не советовал в разгар сезона злоупотреблять поездами и самолетами: хорошо ее зная, он предполагал, что ей в отличие от всех любителей отдыха и путешествий будет страшновато и немного грустно ехать в поезде или лететь на самолете. Советовал не переутомляться; в конечном счете, писал он, ей лучше всего было бы посещать каждый день бассейн отеля «Хилтон», находившегося в нескольких шагах от ее дома. Кроме того, рекомендовал купить себе «хорошеньких платьиц», купальников (бикини), связанных крючком, и к тому же делать прически. В общем, советовал ей не скупиться на расходы, завтракать в кафе при бассейне, плавать, загорать вволю, а вечером, когда спадет жара, играть в теннис: удовольствие от этой некогда любимой ею игры и физическая нагрузка развеют невеселые мысли, которые летними сумерками в городе одолевают одиноких людей.

Этого в письме, конечно, не было, однако женщина умела читать и между строк. Но не стала; настроение поднялось, она уже не чувствовала себя такой одинокой,

и, радуясь тому, что муж помнит о ней, она вдруг в немой духоте почти безлюдного города улыбнулась, на мгновение обнажив красивые здоровые зубы, правильной формы и величины.

В тот самый день у нее начался отпуск; она стала обдумывать то, о чем говорилось в письме,— как лучше потратить деньги «в зависимости от потребностей». Потребностей у нее было много, потому что она хотя и работала, но была бедна. Ни лицо ее, ни поведение, ни манера двигаться и говорить (она была робкая, «прекрасно воспитанная» и обладала золотым сердцем, о чем мало кто знал) не позволяли догадаться, что она бедна, но в действительности все обстояло именно так.

«Ну вот, видишь, он совсем не плохой»,— сказала она себе и опять улыбнулась при мысли, что далекий человек, которого она так любила и который теперь представлялся ей скорее хрупким мальчиком, чем мужчиной, тоже помнит ее, думает о ней и заботится. С этой приятной мыслью, по привычке низко опустив голову и витая высоко в облаках, из-за чего все предметы расплывались перед глазами, она отправилась в спальню, открыла гардероб и принялась рассматривать свою одежду. Она подумала, что нужно купить пару туфель на осень и зиму, купальные костюмы (она так и не поняла, что муж имел в виду: связанные крючком, но как?), еще одни туфли на веревочной подошве (так ли они необходимы? У нее ведь есть еще для лета индийские босоножки). Раздумывая таким образом, она учинила некоторый беспорядок в шкафу, зато навела порядок в мыслях о предстоящем августовском отдыхе в бассейне «Хилтона».

На следующий день, второго числа, она отправилась за купальником, но вязанных крючком не нашла. Потом купила коробку теннисных мячей и в костюме для тенниса пошла в бассейн. Отель был именно такой, каким она его помнила,— в изысканном, немного экзотическом стиле и очень дорогой; она сразу съела мороженое, потом

улеглась загорать на мягком, пахнущем лавандой матрасике, белом в мелкую желтую полосочку. Заснула. Проснулась оттого, что солнце припекло ей кожу, и так как она изрядно взмокла, то сначала приняла душ и только потом нырнула в бассейн. Плавала она хорошо, очень старательно и энергично, как вообще все делала в своей жизни. Потом постояла под жгучим солнцем, обсыхая и глядя на низкорослые пальмы и другие незнакомые ей тропические растения по ту сторону бассейна, среди вздыбившихся холмиками на фоне оранжевого неба крошечных зеленых лужаек, над которыми вертелись дождевальные установки. Ей было хорошо, она испытывала смутное, но какое-то милое ощущение: как будто ее окутывала чистая, пахнущая мылом защитная пелена, что, казалось, исходила от нависшего над бассейном небоскреба, от одетых в белое усатых служителей купальни, от посыльного в ливрее, который расхаживал вокруг бассейна, поднимая плакатик с именем некоего мистера Лёба, от запаха крема для загара, которым смазывала кожу женщина с почти белыми волосами и белесыми ресницами и бровями, по-английски беседовавшая с очень кудрявым юношей, возможно испанцем, возлежавшим на бортике бассейна. Она прислушалась: говорили о воздушных трассах.

Так, плавая и загорая, она провела почти три часа, затем направилась в буфет, села за маленький столик, но стоило подойти официанту, как ею овладела робость. Несколько секунд она молчала, потом застенчиво — впрочем, это могло быть истолковано как раздражение или нелюдимость — спросила меню и, получив его, пришла в крайнее замешательство; официант ждал.

Лишь какое-то время спустя он сообщил, что именно может принести с кухни, а что она сама могла бы взять прямо в буфете. Женщина решила, что он раздосадован ее робостью и нелюдимостью, но он был просто нетерпелив. В конце концов она решила сама пойти в буфет

и принялась извиняться. Официант сначала подумал, что она не слишком состоятельна или скуповата, а вовсе не робка и нерешительна, как было на самом деле, но потом, как будто обо всем догадавшись, с приветливой, сразу ободрившей ее улыбкой указал на буфет.

— Может быть, вы предпочитаете выбрать сами?

— Как, простите? — спросила женщина, окончательно смешавшись.

Официант понял все и опять улыбнулся. Он повторил приглашение и, когда она встала, отодвинул стул, помогая выйти из-за стола. Оставшись опять одна и воспрянув духом, женщина долго ходила вокруг буфета, не решаясь что-либо выбрать и даже не различая блюд из-за спешки, к которой всегда приводят робость и простодушный не по возрасту нрав. Она выбрала ветчину и дыню и уже собиралась поддеть лопаточкой баклажан, но тут официант молча указал ей на заливной ростбиф. Женщина взяла два кусочка ростбифа, виногрет и вернулась к столу. Она старательно и энергично съела холодные закуски, потом встала и пошла в холл, по направлению к администрации. Так как она была еще красива, двигалась своеобразно и вообще имела вид довольно загадочный, то двое мужчин и женщина, ярко накрашенная неподвижная американка, проводили ее взглядами. У администратора она осведомилась, не найдется ли среди посетителей кого-нибудь — предпочтительно дамы, — кто был бы расположен поиграть с нею в теннис ближе к вечеру.

Служащий спросил ее имя, записал и сказал, что известит ее до пяти часов — возможно, согласится одна француженка.

Женщина вернулась на свой матрасик в хорошем самочувствии; от выпитого пива она расслабилась и задремала. Приснились ей пляж на Адриатике со множеством тентов и пустующих прогулочных катамаранов у линии приобя, небо — но не августовское, а скорее октябрь-

ское — и маленький самолетик, круживший над этим безлюдьем, волоча за собой развевающуюся надпись "Thank you". И опять ее разбудили жаркие солнечные лучи. Но это жгло уже не солнце; оказывается, она вся обгорела. Тело слегка распухло, и когда она встала, чтобы броситься в воду, то почувствовала, что кожа как бы похрустывает. Но, ощутив это, она, как часто, почти всегда, с нею бывало, тут же забыла об этом. Прыгнув в воду, она сразу почувствовала себя лучше, однако припухлость осталась, и женщина время от времени рассеянно себя оглядывала. Около пяти часов рассыльный в ливрее принес ей записку от администратора. Мадам Роза ждала ее в семь в холле, чтобы поиграть в теннис.

Жжение усиливалось, но, по-прежнему не фиксируя на нем своего внимания, женщина еще раз окунулась и опять почувствовала огромное облегчение. Однако, стоило ей выйти из воды, жгучая боль возвращалась. От дождевальных установок на лужайке повеяло влажностью и прохладой, женщина подошла и подставила тело под брызги.

В семь она появилась в холле в теннисном костюме, с ракетками и новыми мячами и познакомилась с мадам Розой. Это была француженка одного с нею возраста, с крашеными рыжими волосами и безупречным макияжем, которая проводила свою жизнь между Нью-Йорком и Ниццей. Муж ее, в данное время отсутствовавший, занимался импортом фиников и пищевых консервов. Женщине тоже захотелось рассказать о своем муже, но она промолчала, словно боясь солгать. Они поиграли в теннис; женщина была очень довольна, что у нее появилась знакомая, и они условились о встрече на следующий день. Потом женщина вышла из гостиницы и пешком отправилась домой, усталая и разгоряченная. Она съела немного сыра с хлебом, персик, раза три становилась под душ и наконец легла. Ночью, едва успев увидеть во сне полную луну, глядевшую на нее с раскаленных стен дома, она про-

снулась: жгло кожу. Намочила полотенце и приложила его к телу. Остаток ночи она провела в кошмарах, где тоже фигурировала луна, однако теперь дело происходило в Кортине и лунный свет лился на застывшие волны снежных полей.

Проснувшись (было уже поздно, половина десятого, а она собиралась в бассейн к восьми), женщина обнаружила, что тело и лицо еще больше распухли, а образовавшиеся на коже пузырьки и волдыри успели вскрыться. Она посетовала на собственную рассеянность, с большим трудом, преодолевая боль, оделась и пошла в аптеку; сочувственно посмотрев на нее, аптекарь дал ей тюбик «Фойля» — лекарства от серьезных ожогов.

Женщина вернулась домой с нешуточной головной болью; уже лежа в кровати, она позвонила мадам Розе и, извинившись, отменила встречу, намеченную на вторую половину дня. Мадам Роза была крайне удивлена тем, что она не воспользовалась кремом для загара, очень сожалела и добавила, что пробудет в Италии еще две недели и будет рада встретиться с нею на корте. Такая сердечность несколько скрасила женщине привычное одиночество и даже облегчила боль от ожогов. Ей так нравился этот бассейн — буфет, матрасик, отливающие всеми цветами радуги автоматические поливальные установки, запах гостиницы и крема для загара (к несчастью, этот аромат не навеял ей мысль о том, что надо бы воспользоваться кремом).

Прошло несколько дней, в один из которых женщина с трудом дотащила до ближнего кафе, прихватив с собой учебник английской грамматики (она считала свои познания в английском недостаточными и все время пополняла их — она всегда изучала то, что, как ей казалось, знала недостаточно хорошо), но усталость и головная боль не давали заниматься. У нее был жар, но она об этом не знала, а измерить температуру ей не пришло в голову. Несколько раз съездила в центр города, но чувствовала

себя неважно, к тому же почти все магазины были закрыты на время летних отпусков, и она не нашла ни купальников, связанных крючком, ни веревочных туфель. Ее внимание привлекло платье из белого пике в тонкую голубую полосу и с голубым воротничком из хлопчатобумажного трикотажа. Рядом с платьем были выставлены два белоголубых браслета под слоновую кость. Она думала, думала, ходила взад и вперед мимо роскошного магазинчика, все прикидывала, сколько может стоить платье, и в конце концов, смертельно уставая, ушла — быстрыми шагами, но прихрамывая и опустив голову, как делала всегда, когда понимала, что не способна принять никакое решение.

В «Хилтоне» она появилась, уже почти поправившись, — но не в бассейне, а на корте: сыграла несколько партий с мадам Розой. Они подружились, и как-то вечером мадам Роза пригласила ее поужинать в roof-garden*. Ужин был приятный; сверху ей был виден ее любимый голубой бассейн, где через несколько дней она вновь собиралась плавать и нежиться под ослепительными лучами августовского солнца. Когда она туда вернулась, кожа на теле совсем облезла; женщина опять ела мороженое, лежала на матрасике, много купалась, без всякого стеснения пообедала в буфете и простилась с мадам Розой, которая, уезжая, приглашала ее в Ниццу. Потом заснула на солнце и опять обгорела. Еле передвигаясь, под палящим солнцем, пошла утром на рынок. Потом намазалась «Фарганом» («Фойль» кончился, а аптека закрылась) и целый день провела завернутая в мокрое полотенце. Обложившись учебниками английского, трижды отвечала на телефонные звонки, один из которых был ошибочным; все время ее мучила жажда, и она пила воду, стакан за стаканом. Вечером смотрела на луну, но про сон не вспоминала, только удивлялась, почему (наверно, потому, что давным-давно, в детстве, его видела) приснился ей тот

* Ресторан на крыше (англ.).

самолет с надписью "Thank you".

Двадцать пятого августа разразилась сильная гроза; дождь обильно полил ее цветы в горшках и освежил обожженную кожу. Двадцать седьмого августа женщина проснулась утром в хорошем настроении и с большим желанием поесть мороженого в бассейне, куда она теперь могла бы пойти, соблюдая все необходимые предосторожности. Она надела индийский брючный костюм из легкого хлопка, сандалии, положила в сумку уже приобретенные красноватый оттенок теннисные мячи, теннисный костюм, туфли и тубик «Фаргана». Было так радостно оттого, что она идет в бассейн. Она разделась, легла на матрасик в тени и увидела, что дождевальные установки с лужаек исчезли. Почувствовала в воздухе какую-то перемену: больше не хотелось купаться, и она поняла, что в теннис ей теперь играть будет не с кем. В самом деле, она поспрашивала и не нашла партнера ни на вечер, ни на следующий день. Впрочем, отпуск закончился, и в понедельник ей надо было выходить на работу.

ITALIA

ИТАЛИЯ

Однажды в сентябре, когда в воздухе пахло вином и парным молоком, итальянка Мария и итальянец Джованни венчались в уже по-осеннему холодной романской церкви, на кирпичных стенах которой, ближе к сводам, сохранились остатки росписи: поэт Данте Алигьери, очень маленький, преклоняет колени перед восседающим на троне огромным и сильно облупившимся папой; рядом черная собачка. В те далекие годы церковь стояла особняком на берегу пруда, где плавали гуси и утки, окруженная курузными полями.

Оба были молоды: Марии исполнилось восемнадцать, Джованни — двадцать пять. Родители их знали и уважали друг друга, потому они и дружили с детства. Сразу же после свадьбы отец Джованни сказал сыну: «Все говорят, честь ничего не стоит. Ты этому не верь, честь дороже жизни. Не будешь честь беречь — никто тебя и уважать не станет». Странные слова для такого дня, однако Джованни не столько понял, сколько почувствовал смысл сказанного отцом, который слыл в округе за простодушного добряка.

Внешне Мария и Джованни были типичные итальянцы: смуглые, белозубые; Мария — с красивой грудью и темно-каштановыми волосами — девочкой она их заплетала в две длинные толстые косы, а потом коротко остригла. Джованни — небольшого роста, весь словно из мускулов и нервов. Мария была круглолицая и полногрудая, но не казалась толстой благодаря узкой талии: перехватывая тело, талия как бы очерчивала границу, от которой сразу начинались широкие бедра, слегка выпяченный упругий живот и зад, круто завершающий изогнутую линию спины. Тело у нее было крепкое, мыски подмышек, брови, ресницы — иссиня-черные, жесткие, густые, руки — маленькие, изящные.

Они уже не помнили, когда первый раз «согрешили»: во всяком случае, очень рано, Марии тогда еще и тринадцати не было. Весенними вечерами они подолгу целовались в каменном карьере, где в зарослях папоротника били родники, пахло прелой землей и с листьев падали капли. Летом они часто ходили купаться по солнцепеку, мимо белесых от пыли кустов на большую реку с раскаленной береговой галькой и ледяными подводными ключами. Должно быть, в тех кустах все и произошло, а может, у родника в карьере — за столько лет многое смешалось в памяти. Там, под звездами, среди папоротников, с которых капала влага, Джованни прижался к ней всем телом, и Мария, несколько раз всхлипнув неизвестно по-

чему, крепко обняла его.

Они полюбили запахи друг друга. Летом кожа Марии пахла солью, волосы Джованни после купания в реке пахли шоколадом. Много было таких запахов и ощущений, приятных им обоим, например запах отмелей на Венецианской лагуне, вкус арбуза, но особенно — хлеба и жареной картошки. Они были слишком молоды и еще не разбирались в приправах; мяту, розмарин, сальвию и чеснок они полюбили позже. И оливковое масло они полюбили позже, уже в зрелые годы. Тогда они пристрастились к рыбе и к морскому купанию в глубокой воде на юге Италии.

У них было очень развито чувство чести, про которую говорил отец Джованни в день их свадьбы. Беречь честь означало быть верными друг другу, никогда не говорить о себе отдельно, в единственном числе, и не очень-то доверять другим. По опыту предков они знали: о тех, кто бережет свою честь, никто не посмеет отозваться неуважительно, и потому спокойно спали ночью в одной постели. Хранимые всесильной честью, они погружались в сон, окруженные привычными запахами и ощущениями. В те годы было не принято беспрерывно мыться, как теперь, и они мылись «по необходимости», время от времени. Сегодня про таких бы сказали, что они нечистоплотные.

Шли годы, но это по-прежнему были годы молодости, казалось даже, что они не шли, а стояли на месте, потому что Джованни и Мария, связанные корнями с родной землей, не изменились, даже после того, как стали путешествовать. Другие области Италии казались им чем-то вроде заграничных стран, но мало-помалу они поняли, что жители этих заграничных стран — тоже итальянцы, только все они как бы запрятаны в скорлупу своей собственной, местной чести. Нередко случалось, что они вдвоем молчали, не находя подходящих слов, и Джованни в такие минуты по-приятельски, как ребенок, брал Марию

за руку и легонько похлопывал по спине. Это было «доверие», которое равносильно чести, они знали, что по-настоящему доверять могут только друг другу. Они не имели четкого представления об институте семьи и брака в сегодняшнем понимании, просто у них был опыт совместной жизни и растущая убежденность, что другим, таким же, как они, итальянцам доверять, конечно, можно, но не до конца — и чем меньше, тем лучше.

И вообще, что это значит — «доверять»? Они еще были молоды и определенно не знали, однако «доверие» рисовалось им чем-то смутным, почти таким же смутным, как «измена», и, несмотря на возникавшее у них несколько раз желание «довериться», они в своих очень искренних взаимоотношениях с другими людьми, даже с друзьями детства, никогда не допускали полной откровенности: хочешь жить спокойно — помалкивай.

У них родился сын, назвали его Франческо. Джованни и Мария были наделены «жизненным даром» — тем чисто итальянским (присущим, однако, не всем итальянцам) талантом ходить, жестикулировать, смеяться, который словно омыт волнами Средиземного моря. Щедро солнце Адриатики, но его не сравнить со Средиземным морем: только оно может влиять на фигуру и пластику истинного итальянца. Отсюда сильное, как у брата с сестрой, ощущение родства и крепнущее день ото дня чувство солидарности. Солидарность возникла в результате складывавшейся веками естественности отношений — ведь их деды и прадеды были в родстве, — связанной с тем, что люди, живя на одной земле, смолоду занимались общим делом, вместе ели и спали под одной крышей в семейной обстановке, привычной в те далекие годы для многих и многих итальянцев.

Джованни, как, впрочем, и Мария, сохранил мускулы, нервы, сон и аппетит подростка. Франческо был весь в него. Друзья Джованни часто подшучивали над ним за то, что, сидя во время работы рядом с каким-нибудь колле-

гой, склонившимся над микроскопом, он клал ему голову на плечо и, спрятавшись поглубже в свой халат, засыпал. Голова у него была маленькая, волосы густые и взерошенные, руки он складывал на животе. Был он очень рассеян, хорошо плавал и катался на лыжах, но при этом быстро утомлялся; нередко за едой он впадал в рассеянность и, сосредоточенный на своих мыслях, жевал машинально, не ощущая никакого вкуса,— с таким видом, будто бы, разговаривая с невидимым собеседником, глядел на него, сидящего рядом или поодаль.

Они жили без ссор. У Марии никогда не было другого мужчины, у Джованни — другой женщины. Не знали они и что такое ревность: любовь их, меняясь с годами, находила все новые выражения, к тому же каждый всегда помнил о чести другого. Иногда, правда, Джованни сердился: бледнел, терял дар речи и, чтобы не ударить Марию, бил по голове себя. Мария была обидчива по натуре, а Джованни не выносил, когда она хмурилась или безутешно плакала, шмыгая носом как маленькая.

У них родилась девочка, в честь бабушки Джованни ее назвали Сильвией, у нее был небольшой физический недостаток — вывих бедра, из-за которого, начав ходить, она прихрамывала, но совсем чуть-чуть. Родители горевали, однако, когда Сильвии исполнилось тринадцать и стала проявляться ее красота, в которой было что-то русское и одновременно татарское, они успокоились. Легкая, почти незаметная хромота придавала Сильвии нечто особенное, отличавшее ее от других женщин.

Джованни и Мария уже были не молоды, но их тела, кожа, губы, волосы оставались почти такими же, как в молодости. Джованни поседел, лицо его постарело, под глазами появились мешки, в уголках небольшого, почти детского, носа легли две глубокие морщины. Мария не расплнела, но ее волосы тоже тронула седина, а тело и грудь потеряли прежнюю упругость. Джованни из деликатности стал сдержаннее в ласках. Мария все поняла

и огорчилась. Каждый раз, глядя на себя в зеркало или раздеваясь в ванной, она приговаривала вслух: «Я старуха». И прикрывала тело даже от собственных глаз, потому что молодость прошла.

Летом они ездили к морю, несколько раз путешествовали по Италии. Им казалось, будто за Капуа сразу же следует Порто-Капуана, поскольку эти места они повидали одно за другим; вспоминали они и Куму, и серные рудники. Эти путешествия глубоко запечатлевались в памяти, хотя чувства их с каждым годом слабели: запахи, вкус пищи, морская глубина с каждым годом волновали все меньше, зато зрительные образы и скорее даже мысли и воспоминания об этих образах — все больше. Легкая усталость, не заметная им самим, усталость от жизни, просочилась в их тела и мысли. Годы теперь летели быстро, быстрее, чем дни, которые когда-то, в далекой юности, тянулись, словно годы. Сильвия была счастлива в любви, как, может быть, ни одна женщина в Италии; Франческо, несмотря на юный возраст, стал профсоюзным руководителем одной из политических партий: он был идеалист.

Однажды Джованни сказал своему французскому коллеге, обеспокоенному судьбой Италии:

— *Tout se tient en Italie**.

— Надолго ли?

— Навсегда.

Сказав так (был вечер в Риме, ресторан в Трастевере на площади Санта-Мария, огни, сверкание молний, золотые блики), Джованни увидел перед собой, словно при вспышке света, всю Италию, омытую морем, с ее раскаленными на солнце церквами, башнями и куполами, с ее руинами и рвами, полями и наполненными ветром оливковыми рощами. Объяснить иностранцу, что такое порука

* В Италии все по-прежнему (франц.).

в понимании итальянца, было трудно, и Джованни оставил этот разговор.

Джованни и Мария состарились быстро, но, как это всегда бывает благодаря усталости, милосердной к обоим, воспринявшим бессознательно иллюзии католической веры, ни один из них этого не заметил. Ни один из них не заметил, что жизнь уже позади; им и в голову не приходило, что недолго осталось любоваться утренним римским небом, Венецианским Лидо в те предвечерние часы, когда служащие убирают с пляжа зонты до следующего утра, августовскими пальмами на площади Испании. Мария ходила в собор святого Петра. С детства она не бывала в церкви, но теперь ей нравилось ходить в собор — не молиться, а смотреть на алтари, на полукруг площади, вдыхать запах ладана и наблюдать за папой во время мессы. Сын подшучивал над ней, а она смеялась в ответ, открывая белоснежные, как в молодости, зубы негритянки.

Однажды в июне Мария почувствовала, что теряет фразы, складывающиеся в голове, говорит непонятно, а то и вовсе неразборчиво. Когда Джованни услышал эту бессвязную речь, бесконечная боль охватила его: он понял, что Мария умирает. Мария действительно вскоре умерла, и в доме от нее ничего не осталось.

Джованни пережил ее на одиннадцать лет, он не бросал работу, много двигался, но время остановилось. Джованни умер, и все давно забыли двух супругов; а жизнь продолжала идти своим чередом: ведь остались Сильвия и Франческо, у которых уже были взрослые дети. Дочку Франческо звали Марией, как бабушку, и у нее тоже был маленький коралловый рот и белоснежные зубы.

L

РАБОТА

LAVORO

В один из августовских дней 1970 года, часов около двух пополудни, некий человек в пропыленном пальто и шляпе шел, толкая перед собой велосипед, по асфальтированной дороге, тянувшейся через зеленую от виноградников равнину. К ручке велосипеда были подвешены банки, а к раме — что-то белое, легкое, но громоздкое, издали походившее на скелет. Собственно, именно это сходство и привлекло внимание другого человека, который проезжал на автомобиле по часами пустовавшей дороге и в дрожащем знойном мареве заметил этот скелет. Он притормозил рядом с хозяином велосипеда — без умолку стрекотали цикады, откуда-то доносился пронзительный визг свиней, — но тот не остановился, не взглянул, а продолжал путь маленькими шажками, в такт им глухо хлопая лапами пальто.

Человек, сидевший за рулем, присмотрелся получше и тут только понял, что «скелет» — не что иное, как жардиньерка, сплетенная из гибких ивовых прутьев и камыша. Замысловатая конструкция, как теперь говорят, в стиле «либерти», с вырезанными из ивы пальмовыми листьями и цветочками имела форму рога изобилия. На роге была укреплена белая подставка, предназначенная, наверно, для ваз с цветами или комнатных растений. Веточки ивы были белые-белые, видно совсем недавно очищенные от коры, а в этот час при таком ярком солнце казались, должно быть, еще белее.

Жардиньерка кое-где была раскрашена: быстрые, рассеянные штрихи золотом и серебром и мазки анилиновыми красителями — синие, желтые, алые. Наполовину опустошенные баночки с красками висели тут же, на руле, из чего явствовало, что ловкие руки мастера сотворили жардиньерку всего несколько часов назад. Быть может, на рассвете. Поделка очень заинтересовала приехавшего на машине: он подошел к человеку в пальто и, поздоро-

вавшись, спросил, не продается ли его изделие. Тот ответил утвердительно, по голосу чувствовалось, что он не совсем трезв.

— И сколько стоит? — спросил владелец машины.

Старик (впрочем, может, не такой уж и старик, просто который день не бритая щетина, пальто, шляпа и какая-то ветхость, исходившая от жардиньерки, старили его) долго и недобро сверлил его черными глазами и лишь несколько мгновений спустя ответил:

— Смотря для кого.

Ответ озадачил автомобилиста — эти глаза не могли быть глазами старика, — и он почувствовал легкую дрожь, сам не понимая почему: может, из-за этой пустынной дороги или цикад и свинячего визга, а может, все дело в сверлящем его недобром взгляде. «Да такой и нож вынет», — подумал он, удивляясь себе. Однако набрался духу и спросил:

— А от чего это зависит?

В недобром взгляде промелькнула лукавинка.

— От симпатии...

— То есть?

— Может стоить пятьсот, тысячу, две. Как для кого...

Владелец машины вдруг почувствовал себя уязвленным (не зная чем именно) и вытер лоб аккуратно сложенным носовым платком; но уязвленное самолюбие придало ему решимости, и он спросил отрывисто:

— Ну а с меня, к примеру, сколько возьмете?

— Тысячу, — без колебаний ответил старик.

«Значит, я ему все-таки немного симпатичен», — подумал человек, и на душе у него стало легче.

— Вот как? Но почему тысячу, а не две?

В этот миг у него возникло какое-то досадливое ощущение: сделка с самого начала принимала несуразный оборот. К тому же он понимал, что никакая это не сделка. Старик еще раз взглянул на него — на сей раз без всякого вызова, и все же чувствовалось, что он в себе уверен.

Потом перевел глаза на жардиньерку и ответил:

— Так.

Последовала пауза; старик хотел было опереться на раму, но зашатался и чуть не упал; затем, оглядев свое пальто, принялся отряхивать с него пыль.

— Вы сами ее сделали? — спросил приехавший на машине, пытаясь внести в их коммерческие отношения дружелюбную нотку.

Старик кивнул; владелец машины стал выспрашивать всякие подробности, однако старик, как видно, был не настроен вдаваться в пространные объяснения: приведя себя в порядок, он вновь взялся за руль и попрощался.

— Куда же вы? — удержал его приехавший. — Ведь вы мне обещали ее продать.

— Ладно, — согласился старик, неторопливо расставил что-то вроде треноги для придания велосипеду устойчивости и принялся распутывать веревочки, которыми была привязана жардиньерка, — их он так же без спешки, аккуратно засунул в карман пальто.

Человек достал бумажник, вынул тысячу лир и держал их в руке до тех пор, пока старик не поставил жардиньерку на землю. Как раз в этот момент из оврага выбралась стайка белых уток, обогнула людей и поделку и, взметая крыльями пыль, пересекла дорогу.

— А из чего вы делаете такие штуки? — продолжал тот, что приехал на машине.

Старик, уже спрятавший деньги в карман, объяснил:

— Из ивовых прутьев, а то из камыша, если найду. И если не побьют, — со смехом прибавил он.

— А кто вас бьет?

— Крестьяне, хозяйева ивняка, камышей. Зимой они этими прутьями лозу виноградную подвязывают, вот некоторые и сердятся, не дают срезать. Как-то раз я даже в больницу угодил. А другие, наоборот, ночевать на сеновал пускают, кормят и даже винца подносят за работу. Они для свадеб, эти вещицы, — добавил он.

— Вы только их и делаете?

— Еще стульчики детские, полочки, а то бывает — столики, стулья — смотря что за материал.

Кажется, только теперь человек заметил, сколько на старике надето: под пальто — два пиджака, свитер, да еще целый узел одежды привязан к багажнику велосипеда. Заметил он и что ботинки старика формой напоминают мячи — такие кожаные свертки. Однако тот как будто и не взмок, казалось, ему не жарко.

— А вам не жарко? — спросил человек.

— Да я привычный. По ночам холодно, а спать чаще всего приходится где-нибудь в поле. Когда луна светит, работаю — все прохладнее, чем днем.

— И вы всю жизнь такой работой занимаетесь? — продолжал расспрашивать человек.

— Ну, как сказать.

— То есть?..

— Когда помоложе был, работал в механической мастерской, но то не для души, как говорится, работа, да и хозяин над тобой... Работал там, только потому что женился. Но после опять к своему вернулся... к ремеслу этому.

— Так вы женаты? — спросил человек.— И дети есть?

Старик помог ему внести жардиньерку в машину.

— Да, трое,— ответил он.

— Так что ж, вы с ними не живете?

— Хм...— старик усмехнулся, пожал плечами, это должно было означать, что либо дети не хотят его видеть, либо он их.

— А вообще-то вы здешний?

— Да нет, но летом иногда наведываюсь — тут ивы пропасть и камыша тоже.— И он принялся перечислять места, по которым кочевал, и своих постоянных заказчиков, но владелец машины, сам из этих краев, не узнавал с его слов ни места, ни людей. Он стал допытываться.

— Церковь Святого Николая знаете? — спросил старик.

— Да.

— Ну так вот, от церкви Святого Николая ведет улица в поля, и в самом конце ее, не в последнем доме, а во втором с краю, я и останавливаюсь. Можете там обо мне спросить.— С этими словами он убрал удерживавшую велосипед треногу и двинулся в путь.

Человек тоже сел в машину, но ехал в полудреме — послеполуденные часы давали себя знать. Он одолел всю длинную асфальтовую дорогу — шесть километров, до перекрестка. Потом повернул назад; решил посмотреть, куда направился старик. Вновь проехал всю дорогу — раза два или три глушил мотор и, пытаясь различить какой-нибудь звук в стрекоте цикад, вглядывался в заросли виноградников, — но старика так и не обнаружил. Проезжая в третий раз, увидел велосипед, прислоненный к стенке маленькой, скрытой в зелени таверны.

Тогда он поехал к себе; дома было пусто: жена и две маленькие дочки отдыхали у моря, неподалеку. Внес жардиньерку в дом и определил ей место рядом с двуспальной кроватью — правда, слишком современной, как и все его жилище. Священник, пришедший на пасху благословлять дом, увидев жардиньерку, сказал:

— Такое может сделать только настоящий мастер.

Прошло два года; всякий раз, проезжая по той асфальтированной дороге, человек невольно думал о старике: что с ним стало? Однажды он остановил машину возле церкви Святого Николая и стал расспрашивать прохожих, но ничего определенного не узнал. Как-то осенним вечером, проезжая мимо церкви, увидел старика, вернее, увидел следующую сцену. Неподалеку от церкви остановился трактор с прицепом, полным черного винограда. С него соскочил крестьянин и принялся громко бранить кого-то находившегося в винограднике: старик в том же пальто проворно крутил педали велосипеда, а на руле, как и в прошлый раз, висели баночки с краской. Владелец автомобиля сразу понял, что происходит, увидев,

как старик упал с велосипеда, но тут же вновь пустился прочь, спасаясь от своего преследователя, который в конце концов остановился, хотя и продолжал кричать. Бежавшая за крестьянином собачонка тоже остановилась и замолчала. Потом крестьянин влез на свой трактор и вскоре скрылся из виду.

Человек оставил машину на дороге и стал пробираться между шпалерами по направлению к реке. Что старик мог натворить? Опять воровал прутья? И из-за такой ерунды ему пришлось спасаться бегством? Ночь была лунная, но отыскать старика не удалось. Человек нашел только пучок очищенных веточек ивы, которые тот, должно быть, обронил во время бегства. Чуть подалее встретил несколько овец.

Годы шли; время от времени он пробовал искать старика — прежнее любопытство осталось. Расспрашивал людей, но почти все называли кого-нибудь другого: возможно, не один старик занимался тем ремеслом, которое, однако, не пользовалось спросом. Однажды на рынке в какой-то деревушке он увидел на отшибе, рядом с таверной, несколько выставленных на продажу скелетов-жардиньерок — точь-в-точь как была у него (его жардиньерку жена сломала — она напоминала ей траурный венок), — два маленьких стула и столик. Вещицы были выстроены вдоль облупившейся стены и в своей скелетной, фантастической белизне, с этими яркими пятнами-кометами показались человеку прекрасными.

Задыхаясь от волнения, он искал старика в таверне, но так и не нашел; из разговоров с рыночными торговцами узнал, что старика не видно уже давно, но какая-то цыганка продает его работы. Найти цыганку человек тоже не сумел. И когда на закате, потеряв почти целый день, он возвращался домой и вновь прошел мимо того места на рыночной площади, поделки все еще стояли вдоль стены. Не хватало одной жардиньерки — такой, как была у него. Возможно, ее кто-то купил.

M

МАТЬ
МЕЛАНХОЛИЯ
МОРЕ

MADRE
MALINCONIA
MARE

В один летний полдень 1940 года (дул свежий ветерок, из распахнутых окон доносились звуки радио) некий мальчик лет одиннадцати, «необыкновенно развитой» — правда, был у него дефект, обезображенное ухо, — единственный сын, которого мать оберегала как зеницу ока, поддавшись на уговоры своего более независимого друга, удрал из дому на роликовых коньках, которые любил больше всего на свете. Прежде он ни разу не осмелился выйти за пределы установленной матерью территории между несколькими соседними с их домом зданиями; чтобы в любой момент услышать материнский зов, он раскатывал взад-вперед по периметру означенной площадки, на огромной скорости (притормаживая, однако, у окон с предательски шевелившимися занавесками) и в полном восторге; он освоил самые резкие, рискованные повороты и фигуры, но, к сожалению, участвовать в соревнованиях с другими обладателями роликов разрешения не имел и лишь иногда отваживался на это тайно, причем всякий раз боялся ободрать коленку.

Подбивший его удрать приятель, тоже опытный спортсмен, был светловолос и хорош собой; легко возбудимый и вспыльчивый, он при длинных пробегах весь краснел и покрывался испариной; мальчик этот был на два года старше и вел себя так раскованно, как будто жил без родителей. Увидев в тот злополучный день своего младшего друга, он ограничился при встрече всего несколькими словами, но в них таилось столько соблазна:

— Сегодня сбегает на аэродром, прибыли истребители-бомбардировщики и «юнкерсы».

Маленький — его звали Джаннетто — был буквально сражен наповал, ведь все эти слова — аэродром, истребители-бомбардировщики и особенно «юнкерсы» — обозначали явления другого, неведомого ему мира: аэро-

дром — далекое-предалекое место, добраться до которого на коньках он даже и не мечтал, истребители-бомбардировщики — самолеты, виданные разве только на фотографиях и в выпусках кинохроники, а «юнкерсы» — вообще всю Германию, включая престарелую фройляйн Ингу, учившую его читать по-немецки и еще отдавать дамам поклоны, щелкая каблуками, чего он стеснялся. Заикаясь от волнения, он сказал:

— А ма-ма-мама если узнает... — но сам уже безотчетно следовал за другом Беппино по улицам, выходящим за пределы дозволенного прямоугольника. Напрасно крикнул он: — Но только сразу же назад, слышишь!

Его белокурый, весь как сжатая пружина друг ничего не ответил.

Следуя почти вплотную за приятелем — для этого ему приходилось сильно отталкиваться и делать широкие взмахи руками, — Джаннетто выехал на пустынную, мощенную каким-то удивительным, похожим на мрамор камнем улицу, которая вела к средневековой арке; проскочив под нею, они оказались на бульваре, плавные извивы которого обеспечили им хороший разгон; затем помчались вдоль огромного, мрачного, покрытого копотью завода — Джаннетто успел заметить полыхающее в доменной печи пламя, — потом промелькнула обсаженная деревьями аллея, и снова фабричная труба, откуда выплывало коричневое облако с запахом жареного кофе, а дальше уже пригородная дорога, правда асфальтированная, но в те годы не было ни грузовиков, ни автомобилей, только изредка попадались велосипеды и старухи в черном, шедшие кто в город, кто обратно вдоль кирпичных стен, окаймленных колючей проволокой и осколками стекла. На стенах было написано мелом «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДУЧЕ!».

Они уже выехали за черту города; на небо внезапно набежали маленькие черноватые тучки, отозвавшиеся

в сознании Джаннетто смутной угрозой; в воздухе запахло озоном, а впереди показались обширные участки красного грунта — теннисные корты, где в абсолютной тишине (если не считать ритмичного постукивания ракеток о мячи) двигались белые фигурки молодых людей и девушек. А сразу за кортами начиналось зеленое поле аэродрома, и на нем — два белых планера, замаскированный аэростат и ослепительно сверкавшие на солнце истребители-бомбардировщики и «юнкерсы».

Беппино и Джаннетто остановились, приникли к ограживающей поле металлической сетке и стали смотреть. Но уже в следующий миг Джаннетто со страхом, растущим, как грозовые тучи в небе, стал думать о матери. Что она делает сейчас? Конечно же, ищет его, мечется на велосипеде по ближним улицам, зовет, то и дело останавливая прохожих.

— Поехали обратно,— сказал он Беппино.

Но тот, поглощенный разговором с немецким часовым, лишь досадливо отмахнулся. Ему хотелось подойти поближе к самолетам, может, даже потрогать их, о чем он и просил часового.

— Ну поехали,— повторил Джаннетто.

Беппино все-таки сумел уговорить караульного и подошедшего офицера. На какое-то мгновение страхи Джаннетто рассеялись. Польщенные тем, что мальчики говорят по-немецки, солдат и офицер провели их на взлетную полосу прямо к самолетам. Им позволили даже залезть в кабину «юнкерса» (это была машина офицера, которого звали Тони Хогештайн), и у Джаннетто буквально голова пошла кругом от терпкого запаха бензина и войлока. Но временами он все же поглядывал на дорогу — не появится ли на велосипеде светловолосая, в голубом платье мать. Офицер подарил друзьям по маленькому значку "Luftwaffe"*.

* Военно-воздушные силы (нем.).

— Ну хватит, пошли отсюда,— не отставал Джаннетто.

Наконец Беппино пристегнул ролики прямо на взлетной полосе, Тони Хогештайн, на ресницах которого играли золотые блики, отдал им честь, и ребята отправились обратно. Красные теннисные корты опустели, небо глухо рокотало. Добравшись до конца взлетной дорожки (пришлось еще перелезть через сетку ограды), они пустились той дорогой, которую Беппино счел кратчайшей,— вдоль реки. Мчались они сломя голову, но их задержали «природные условия» (иначе говоря, невезение): асфальтированная дорога, как на грех, сменилась гравием, а с неба упали первые тяжелые капли. «Ну, все, я пропал, что же со мной теперь будет? — подумал Джаннетто, не решаясь поделиться своими страхами с другом.— Отдаст меня мама в приют, и тогда прощай и дом, и Беппино, и школа, и фройляйн Инга, и ролики»,— и он глянул на коньки, которые держал в руках.

Слезы сдавили ему горло, но тут зашумел дождь, и река, вдоль которой они двигались, вспоротая падающими каплями, сделалась похожа на штормовое море. Потянув головы носовыми платками, они бежали сами не зная куда, Джаннетто — босиком, так как его ботинки были привинчены к конькам; наконец между шквалами ливня разглядели деревянный мостик и укрылись под ним. Бушевала гроза, на темно-зеленом небе сверкали раздвоенные языки молний, но Джаннетто их и не замечал, охваченный другим, нараставшим с каждой секундой страхом, который внушала ему увеличенная до невероятных размеров фигура в голубом; он будто наяву увидел, как мать с прилипшими к выпуклому лбу светлыми волосами въезжает на велосипеде на мостик, и отчетливо услышал крик: «Джаннетто-о-о-о-о!»

А Беппино именно в эти страшные для Джаннетто мгновения начал приставать к нему с вопросами насчет его уха:

— А что у тебя с ним, отчего оно такое? — и трогал

ухо кончиком пальца, весь во власти любопытства и, по-видимому, не испытывая абсолютно никаких волнений и тревог.— Почему оно у тебя такое, без ничего, только дырочка одна? Тебе что, его отрезали, когда ты был маленький? А может, ты в какую-нибудь катастрофу попал?

— Оно у меня с рождения такое,— отвечал Джаннетто.

— Оно что, внутри осталось? А как это? — не унимался Беппино, теребя кусочек кожи, заменявший Джаннетто ухо; говорить приходилось все громче, так как среди молний и громовых раскатов надвигался глухой, захлебывающийся шум мотора.

Это был самолет, бомбардировщик, и едва они успели различить сквозь завесу дождя в повисших над полями и тутовником тучах кренившуюся то на один, то на другой бок на бреющем полете всего в нескольких десятках метров от них машину, как она пронеслась, врезалась в дамбу и взорвалась. Обломки рассыпались по небу и по земле, несколько штук ударились о мост, а к ногам мальчиков свалился сапог, принеся с собой запах горелого бензина.

Дождь шел, наверно, еще с полчаса, но так и не погасил бушующее пламя, потом небо стало проясняться и кое-где голубеть; пробивающиеся лучи солнца осветили солдат, которые ходили на некотором расстоянии вокруг останков самолета и говорили по-немецки. Мальчики бросились к асфальтированному шоссе, надели свои ролики и, вздымая брызги, помчались по лужам, к городу, где Джаннетто встретил мать: она действительно была в голубом, на велосипеде, и широко распахнутые блестящие глаза искали его. Беппино, пробормотав: «Что и требовалось доказать», тут же смылся, а он бросился на землю, плача и прося прощения; она молча пристегнула его к седлу велосипеда и повезла домой.

Дома его отнесли в постель (сам он уже не держался на ногах), раздели и отшлепали что было сил — в такт

ударам Джаннетто только приговаривал еле слышно:

— Прости, ну пожалуйста, прости.

Наступил вечер, потом ночь. Спрятавшись под простыней, он сжимал в руке карманный фонарик и только глубокой ночью, в крошечной тьме (сверчки в саду после дождя устроили бал), отважился его зажечь и оглядел стены и потолок спальни, разрисованные под синее небо с серебряными звездами и серпиком луны в углу возле дымохода. Вид этого раскрашенного неба успокоил его, страх куда-то отодвинулся, и лишь на мгновение перед ним опять возникли глаза матери в момент их встречи — небесно-голубые, блестящие, широко раскрытые, и уже никогда он не смог забыть ни эти глаза, ни голубое платье, ни велосипед, ни раскрасневшиеся щеки и лоб с прилипшими волосами, ни свой страх перед всем этим — не смог даже в тот февральский день 1957 года, когда на глазах матери умирал от болезни почек, что-то вроде нефрита. Что касается друга Беппино, тот жил в совсем иных «природных условиях» — «что и требовалось доказать».

MALINCONIA

МЕЛАНХОЛИЯ

Вто далекое нежаркое лето детей из лагеря для бедных под названием Бедин-Алигьери, находившегося на попечении столь же бедных сестер доротеанок, поднимали утром пораньше и сразу же вели на луг или в сосновую рощицу на вершине холма. Присматривали за детьми две молодые монахини, по случаю лета сменившие черные платья и чепцы на белое облачение, такие же ребячливые, как их питомцы, и лишь немногим выше их ростом. В лагере отдыхали и мальчики, и девочки, а среди девочек — «гостья» по имени Сильвия: ее именовали «гостьей» за то,

что она была внучка одного из основателей лагеря, социалиста, человека далеко не бедного.

Именно поэтому Сильвия в отличие от других девочек могла не носить форменное без воротничка платьице из простого серого полотна, а надевать свои обычные платья, висевшие в небольшом шкафчике, свои туфли (а не красные резиновые сандалии, в которые были обуты остальные дети) и даже играть в собственные, привезенные из дому игрушки. Спала она, однако, в большой общей комнате вместе с другими девочками, и в целом жизнь ее была такая же, как у всех: легкий завтрак, обед, полдник и ужин. Даже белая эмалированная кроватка и грубые простыни с толстым швом посередине были такие же, как у всех.

Сильвия впервые проводила лето с другими детьми в лагере (как правило, она безвыездно жила с дедушкой и горничной). Дед привез ее на раме велосипеда, где специально приделал маленькое седло; он по своему обыкновению был одет в черный шерстяной костюм с галстуком-бабочкой, черную шляпу и козловые, тоже черные, высокие сапоги с застежкой сбоку; приехав, он поручил внучку монахиням, которые, кстати, были необычайно рады принять такую почетную гостью.

В лагере Сильвию особенно поразили запахи: она очень скоро научилась различать по запаху не известные ей полевые травы и растения — мяту, сальвию, розмарин, цикорий, папоротники и всякие неприятно пахнущие сорняки, которые мальчишки нарочно совали ей под нос. Совсем по-другому пахло в хвойной рощице на вершине холма, куда детей водили гулять после обеда, — еловыми и сосновыми шишками, иглами и какими-то ягодами, по форме напоминавшими колокольчики: их Сильвия окрестила «мертвяками», что крайне рассмешило ребят.

У насекомых тоже был свой особый запах: кузнечики, которых Сильвия навострилась ловить, пахли вербеной, а некоторые жесткокрылые, или жуки-олени, — целлулои-

дом, по крайней мере именно такой запах они источали, попадая в клетки из травинок (их плести Сильвию научила одна из монахинь). Но больше других любила Сильвия запах постелей и простынь, стоявший в общей спальне: он напоминал ей свежесть, разлитую в воздухе после грозы, и порой смешивался с легким запахом детского пота и мочи.

О дедушке Сильвия временами вспоминала, но, казалось, не слишком по нему скучала. Чаще она думала о нем в конце дня, сразу после ужина, после вечерней молитвы в маленькой часовне, когда все сидели на траве, и Сильвия смотрела на круживших совсем низко над людьми и лагерем ласточек и слушала их крики, в то время как старший из детей звонил в колокол. В сумерках ласточки четко вырисовывались на фоне лилового неба с желтой полоской у горизонта; из дверей часовни доносился слабый аромат ладана, вместе с запахом сырости, исходившим от высокой луговой травы, он вызывал у Сильвии странное, незнакомое чувство, объяснить которое она, пожалуй, не сумела бы, но только чувство это, возбуждаемое застывшими в сумерках запахами, так сжимало ей горло, что хотелось плакать.

Она спросила у монахини, можно ли ей одеваться как все: в платье из серого полотна и красные резиновые сандалии, но та, непонятно почему, ответила отказом.

— Тебе кто-нибудь сказал что-то насчет твоей одежды или игрушек? — спросила настоятельница. — Они смеялись над тобой, упрекали?

Сильвия помотала головой. Никто ей ничего не говорил, но, не умея в свои семь лет объяснить это монахине, она чувствовала себя чужой, не такой, как другие дети, и оттого стыдилась и своих кукол, и игрушек, и платьев; впрочем, игрушки она охотно раздавала другим, нимало не заботясь, вернут ли ей их. Сильвия ощущала себя чужой, но вовсе не потому, что другие дети так вели себя

по отношению к ней или не принимали в игру, наоборот, ее всегда приглашали, тянули, чуть ли не заставляли что-то делать, исполнять какую-нибудь — даже главную — роль в той или иной игре или в постройке домиков. Она чувствовала себя как бы чужой от рождения, а не оттого, что попала в чужую семью — может, дело было именно в том, что семья, кроме дедушки, у нее не было. Другие дети удивлялись ей, но это отнюдь не отчуждало Сильвию от всех, как, по ее понятиям, должно было быть, а, напротив, вызывало их любопытство и вопросы, ответить на которые Сильвия не могла.

Нет, отца она никогда не знала, мать... помнила, пожалуй, молодую даму, которая, судя по кое-каким деталям — подаркам, например, золотой цепочке с коралловой подвеской, — была ее матерью; молодая светловолосая женщина, ее Сильвия видела раза два или три; ни братьев, ни сестер нет. Потом она с воодушевлением и очень подробно рассказывала о дедушке; впрочем, дети и сами его видели: в день приезда он устроил смотр всего лагеря. Они знали, что дедушка Сильвии — один из его основателей.

— А он богатый, твой дедушка? — спросил один паренек, самый старший в лагере, ветеран, приезжавший сюда уже несколько лет, с облупленной кожей и весь пропахший рыбой и яйцами.

— Не знаю, — ответила Сильвия.

— А чем он занимается?

— У него велосипедная фабрика.

— Значит, богатый, — хором сказали мальчики и девочки. — Вот почему ты одета лучше нас.

Сильвии было как-то неловко иметь богатого дедушку, быть одетой лучше всех. И не столько потому, что другие дети были гораздо беднее ее, не столько потому, что предполагавшееся дедушкино богатство и разница в одежде делали ее, Сильвию, объектом любопытства и расспросов, а просто она ощущала себя чужой. И прежде

всего из-за своей повышенной восприимчивости к запахам, имевшей большой успех у детей, которые завязывали ей глаза и совали под нос какую-нибудь травку, лавровый лист, бабочку, а она безошибочно все узнавала; но было и другое, что заставляло Сильвию ощущать себя чужой, и это другое было тесно связано с ее необычным обонянием — «сумеречное» чувство (теперь оно посещало ее в разное время, и днем, и ночью), чувство, которое она могла определить только словами: «Мне хочется плакать».

Стоял август, и не выразимое иначе, как «мне хочется плакать», чувство усиливалось по причинам вполне конкретным, к которым с течением дней добавлялись все новые; запахи стали более холодные и вообще изменились — может быть, меньше грело солнце, к тому же цикады и сверчки как будто чуть приумолкли. Это изменение качества и сущности запахов и тембра звуков и шумов становилось сильнее и ощутимей в сумерки, в обычный час после краткого ритуала в часовне, когда окраска неба тоже менялась. На несколько дней Сильвия все же добилась разрешения надевать те же платья и сандалии, что и все, но — этого уж она никак не ожидала — ощущение чужеродности только усилилось. Одета как другие, она словно стала еще более непохожей на них, и оттого ей еще больше «хотелось плакать». Она опять надела свое платье. Прошла гроза, и на день похолодало, потом солнце возвратилось, но теперь то и дело пряталось за быстрыми серыми, розовыми и цвета кофе с молоком облаками. В такую неустойчивую погоду Сильвии нестерпимо хотелось плакать, и несколько раз, запершись в туалете, она давала волю слезам.

Фотограф сделал несколько групповых снимков: Сильвия в своей одежде, с падающими на глаза густыми рыжими волосами, посреди остальных, одетых одинаково. Монахини объяснили, что фотографии на память делаются каждый год, и Сильвии захотелось посмотреть сним-

ки прежних лет. Настоятельница повела ее в свой кабинет, где на стенах висели совершенно однотипные фотографии: везде были изображены мальчики и девочки в лагерной форме, с теми же монахинями, на том же фоне. Некоторые из детей отдыхали в лагере и в этом году.

— А остальные? — спросила Сильвия настоятельницу.

— Выросли, — ответила та, — и больше не приезжают.

Ее ответ и фотографии, не отличимые друг от друга и от той, что была сделана несколько дней назад в том же углу площадки у древка знамени, привели Сильвию в настроение, когда «хочется плакать», которое усугублялось день ото дня; она снова несколько раз плакала в туалете. Но длилось это какие-то мгновения и скоро прошло.

В конце августа дедушка приехал за ней. Дети не отставали от него ни на шаг, а он раздавал леденцы. Чемодан Сильвии был уложен, и в кабинете настоятельницы в присутствии всех монахинь состоялось прощание. Разумеется, дедушка спросил у них, как Сильвия чувствовала себя в лагере и как она себя вела.

— По-моему, хорошо, правда? — сказала настоятельница, поворачиваясь к Сильвии.

— Да-да, очень, — ответила Сильвия.

— Грустно возвращаться домой? — спросил дедушка.

Сильвия ответила «нет». Она прислушалась к разговору дедушки с монахинями; настоятельница, говоря о ее характере, произнесла непонятное для Сильвии слово: после многих приятных слов — «смышленная», «славная», «добрая» — прозвучало еще одно — «меланхолия», «меланхоличная».

Она ничего не сказала, но чуть позже, когда дедушка катил велосипед между высокими замшелыми стенами

к большим решетчатым воротам около сосновой рощи, она спросила у него, что такое меланхолия.

Дед остановился перевести дух (он иногда страдал одышкой) и ответил не сразу. Сперва поглядел на небо.

— Меланхолия? Ну...— Он опять замолчал, о чем-то думая.— Меланхолию навевают уходящее время... А что? Это с тобою случалось?

Сильвия залезла на прикрепленное к раме седло; тропинка шла под гору.

— Иногда,— ответила она.

MARE

MOPE

Однажды в августе, когда наступила жара и оставалось уже совсем немного до феррагосто — праздника прощания с летом,— один рабочий родом из деревни (у него были крепкие белые зубы и красивый рот), воспользовавшись отпуском на мебельной фабрике, где он работал, поехал в Йезоло, к морю. Был он вдовец, лет сорока, и никогда не отдыхал на море. Йезоло же выбрал потому, что слышал на фабрике, будто там много кемпингов (особенно ему рекомендовали один, под названием «Метрополис») и ничего не стоит завести приятные знакомства.

Рабочего звали Бруно; погрузив в машину большую канадскую палатку и все необходимое для путешествия, он выехал седьмого числа рано утром и к полудню добрался до места. Он был весел, возбужден и даже слегка самоуверен, как всякий простой, бесхитростный и добродушный человек, который, получив свои двадцать дней отпуска, отправляется отдыхать один. В Йезоло он нашел «Метрополис», но там оказалось полно отдыхающих; не

зная поблизости ни одного кемпинга, он договорился, чтобы ему разрешили поставить палатку возле металлической сетки, отделявшей территорию кемпинга от дороги (машину пришлось отогнать еще дальше, в кусты).

По ту сторону дороги под чахлыми пыльными тополями стояли палатки и трейлеры, а дальше было море. Бруно сразу же принялся расставлять палатку и к часу дня управился. Перед входом он поставил складной столик, стул, плитку и газовый баллон. Пока не закипела вода для спагетти, он прошелся по кемпингу, осмотрел душ и туалеты, узнал, что горячая вода бывает только по утрам, около шести, и электрическое освещение в палатках не предусмотрено.

В переполненном кемпинге не осталось ни одного квадратного метра свободного пространства, и Бруно, поняв, как ему повезло, потирал руки от удовольствия. Пыли здесь порядком, что верно, то верно, и зелени никакой, зато люди все вроде него, простые, есть с семьями, много рабочих из Германии. Когда он вернулся к своей палатке, вода уже кипела, и он опустил в нее спагетти. Дожидаясь, пока они сварятся (соус он привез с собой в закупоренной банке), Бруно заметил у входа в кемпинг машину с радиотелефоном и надписью на дверце.

«Дикий Ворон» — прочитал он и, подойдя к будке возле шлагбаума, спросил у длинноволосого сторожа, чья эта машина. Рядом остановился высокий человек, очень плотный и мускулистый, — как оказалось, хозяин машины, и сторож познакомил их, объяснив Дикому Ворону, что Бруно только сегодня приехал. Они немного поболтали, и, когда настало время вынимать спагетти, Бруно пригласил Дикого Ворона к столу для более тесного знакомства. От обеда Дикий Ворон отказался, но сказал, что охотно посидит с Бруно, пока тот поест. Выяснилось, что он часовщик, живет в Милане и каждый год в августе нанимается в кемпинг ночным сторожем: его дело следить

за нравственностью и за порядком, не пускать на территорию женщин легкого поведения, пьяных и хулиганов. Он чемпион по каратэ, и каждый год ему приходится ломать кому-то руки, ноги и челюсти, хотя он сперва предупреждает, вежливо, культурно, и считает до трех. Он тоже вдовец, детей у него нет.

После обеда Бруно лег поспать, но солнце так накалило палатку, что он вскоре проснулся от жары и нестерпимой духоты. В пять часов, надев плавки и сдав бумажник на хранение длинноволосому сторожу, он отправился к морю мимо палаток и трейлеров.

На берегу и в море у берега было полным-полно людей, но он все-таки немного понырял, стараясь разглядеть дно, однако ничего, кроме рыжих водорослей, не увидел. Потом, отыскав свободное местечко, расстелил полотенце и лег. Проспал он долго, потому что, когда проснулся, солнце уже садилось. Пляж почти опустел, и от берега, тарахтя как трактор, отплывала рыбацья лодка с оранжевым парусом и нарисованным на парусе большим солнцем, лучи которого были похожи на языки пламени.

Он сходил в душ (вода была холодная) и, вернувшись в свою палатку, переоделся и попрыскал лицо одеколоном. Выходя из кемпинга, он увидел Дикого Ворона в шортах и в майке — как утром. Тот разговаривал с девушками, тоже собравшимися на прогулку, но, судя по всему, еще не знавшими твердо, как провести вечер и куда направиться.

— Я отлучаться не могу: долг не позволяет,— сказал Дикий Ворон,— сейчас у меня самая работа начнется.

Дикий Ворон представил Бруно девушкам (их было четыре), и они задержались, чтобы немного поболтать, потому что планов на вечер у них пока не было, а какие планы у Бруно — они не знали, равно как и он сам. Бруно был красивый мужчина и выглядел гораздо моложе своих

лет, но от застенчивости и по неопытности не решался присоединиться к компании девушек, которые, к слову сказать, все были очень молоденькие и хорошенькие, кроме одной. Наконец, набравшись храбрости, он спросил:

— Вы на танцы?

— Не знаем еще, может, и на танцы,— ответили две девушки.

— Уже поужинали?

— Поужинали.

— А я еще нет,— сказал Бруно,— и с удовольствием бы съел пиццу.

— Тут недалеко есть пиццерия,— сообщила одна из девушек по имени Инес,— а рядом несколько танцплощадок.

Остальных звали Мария-Рита, Сандра и Олис. Девушки надушились, накрасились, у всех четырех были подведены глаза. Бруно пригласил их с собой — выпить пива, пока он будет есть пиццу. Девушки согласились, но словно бы неохотно, от нечего делать.

Говорили они мало, Бруно же, напротив, все время болтал и много танцевал (в молодости он участвовал в танцевальных конкурсах); в конце концов он уговорил девушек съесть пиццу. Ели они очень аккуратно, маленькими кусочками, держа нож и вилку по всем правилам.

Как Бруно и предполагал, все они были служащие. Старшая из девушек, Мария-Рита, уже не казалась ему «уродиной», хотя самой красивой, безусловно, была младшая — Инес,— она и смеялась больше других. Несмотря на застенчивость, доводы рассудка и возраст, Бруно в конце концов решил для себя, что Инес ему нравится больше всех.

После пиццы, пива и танцев они еще погуляли, а потом вернулись обратно в «Метрополис».

Девушки пригласили Бруно в свою палатку, где висе-

ло зеркало и много нарядов — ему показалось, что среди них были даже вечерние, — и угостили его виски, после чего Бруно пошел спать.

Поскольку его палатка стояла в двух метрах от дороги, он много раз слышал сквозь сон, как, резко срываясь с места и визжа покрышками, отъезжали машины, а под утро его разбудил голос Дикого Ворона: «Я вас предупреждаю, ради вашего же блага, заранее предупреждаю: если подойдете — в порошок сотру, уничтожу. Мое дело — предупредить. А теперь, уважаемые, считаю до трех: раз...» Наступила тишина, потом послышались свист и возня... «Два...» Снова гробовая тишина, затем приближающееся шлепанье вьетнамок Дикого Ворона, какое-то бормотание и затихающий топот... Немного спустя Дикий Ворон воинственно выкрикнул: «Три!» И тут Бруно зашнуровал.

Шли дни, вот уже позади и феррагосто с шутихами и фейерверками, которыми Бруно и девушки любовались с моря, из рыбацкой лодки. Бруно часто наведывался к девушкам: ему нравилась Инес, он ничего не мог с собой поделать, и, хотя вел себя так, чтобы она ни о чем не догадалась, она догадывалась: иногда задирала нос, а иногда милостиво соглашалась сходить с ним в пиццерию.

Купался Бруно всего один раз и моря, можно сказать, не видел, потому что девушки почти не выходили из палатки: они причесывались, красились, переодевались, менялись нарядами. Часто они приглашали к себе на ужин приятелей, и тогда Бруно был за повара. Поначалу молодежь называла его «синьор Бруно», но скоро все перешло с ним на «ты». Он чувствовал себя счастливым и считал, что поступил очень правильно, выбрав для отдыха Йезоло и кемпинг «Метрополис». Как-то вечером всей компанией ходили в огромный луна-парк; в «пещере неожиданностей» Инес сидела рядом с Бруно и прижалась к нему, когда выскочил скелет.

Восемнадцатого августа девушки уехали, Бруно пробыл еще два дня в опустевшем кемпинге, а потом тоже уехал. Перед отъездом он написал в дирекцию жалобу по поводу санитарного состояния душа и особенно уборных.

Дикий Ворон еще оставался, и Бруно зашел к нему в тесную палатку попрощаться: днем Дикий Ворон чинил отдыхающим часы.

Бруно вернулся на мебельную фабрику. Прошел сентябрь, октябрь, ноябрь и почти весь декабрь. Инес он не забывал: послал ей две открытки, причем одну с Лаго Маджоре, позвонил разок на работу; она была любезна, приглашала в гости.

Тридцать первого декабря Бруно решил к ней съездить: в конце концов, пять часов на машине — не так уж много. Приехав в поселок недалеко от Йезоло, где жила Инес, он нашел ее дом (адрес у него был), но Инес не застал: мать сказала, что она с друзьями уехала в горы. Бруно пообедал в траттории и заодно записался на встречу Нового года — ради лотереи. Переночевав в гостинице, он на следующее утро отправился в Йезоло — посмотреть на кемпинг — и нашел его с трудом: безлюдное место было неузнаваемо.

Соломенные навесы исчезли, уборные и души были заколочены пожелтевшими досками, вокруг ни одного трейлера, ни одной палатки — пусто. Такого Бруно не ожидал. «Здесь стояла машина Дикого Ворона, а вот здесь моя палатка», — говорил он себе, стараясь отыскать хоть какую-нибудь приметку летнего отдыха: бумажный пакет, пустую бутылку, но не нашел ничего, ровным счетом ничего.

Перейдя дорогу, он пошел к морю (здесь стояла палатка Инес), посмотрел на огромные бушующие волны, на пену и повернул обратно. В двух шагах от пляжа он увидел пиццерию, тоже забитую досками. Оглядевшись, он и здесь мысленно провел небольшую инвентаризацию:

на этом месте была площадка для электрокаров, тут жарили на вертеле кур, тут стоял киоск, где Мария-Рита купила крем «Солнечный янтарь» для загара, а потом пришла Инес и обменяла его на другой. Ветер заносил улицы песком, наметая то здесь, то там маленькие холмики; не было ни музыки, ни машин, ни запахов — не было ничего.

N

СКУКА
НОСТАЛЬГИЯ

NOIA
NOSTALGIA

Однажды некий человек, который нередко обольщался (не слишком, правда) насчет того, что ему удастся открыть в себе подобных и вообще в жизни нечто новое, непредсказуемое, раскрыть какую-то тайну, как в детективных романах, завтракал в компании приятелей на красивой веранде с видом на море. Такие надежды он питал оттого, что повсюду только и слышал: жизнь всегда непредсказуема, полна необычайных приключений и никогда не бывает скучной. В глубине души он был совсем не убежден в этом, ибо прожил на свете шестьдесят лет и все, что с ним происходило после двадцати пяти — тридцати, предвидел или по крайней мере имел полную возможность предвидеть.

Правда, кое-что в жизни воодушевляло его, однако восторги быстро сменялись скукой. Порой ему случалось чему-то удивляться, но то были факты весьма незначительные: раз он просидел в лифте более десяти часов (непредвиденный случай), еще раз посреди пустыни в Аризоне оказался без капли горючего (событие предсказуемое, но все же застигнувшее его врасплох); иногда желанную новизну сулили лица и поступки людей, и подчас надежды сбывались: кому-то на короткое, а кому и на более длительное время удавалось его поразить и заинтересовать. Но, к сожалению, и эти люди рано или поздно его разочаровывали; внутри у него как будто находилось какое-то особое устройство, позволявшее отмечать повторяющиеся, предсказуемые, а значит, наводящие скуку черты. Способность людей оставаться верными себе, их чистосердечие всегда производили на него впечатление и скучными не казались, но эти качества встречались край-

не редко, а чистосердечие детей не сохранялось надолго.

В тот день у моря наблюдение за гостями не предвещало особых надежд, но не находилось и повода для глубокого разочарования: за столом расположились добропорядочные семейства — добропорядочные в хорошем смысле слова, если подразумевать под этим то особое семейное тепло, которое привносят главным образом дети — как подростки, так и малыши; последние будут верещать, это можно предсказать наверняка, но вот когда — угадать невозможно. А это уже кое-что. Были там мальчики и девочки лет шестнадцати-семнадцати — возраст любопытный и, если угодно, интересный именно тем, что в эти годы впервые выявляется присутствие (или отсутствие) характера. Была супружеская пара — обоим лет тридцать пять, — довольно унылая, несмотря на все достоинство, с каким они оба держались; видел он их впервые, но понаблюдать за ними самую малость, пожалуй, было бы весьма любопытно. Еще — хозяева дома и другие.

Он начал следить за подростками; девочек было две, обе «миленькие», и, как всегда в таких юных созданиях, ощущалась в них какая-то чистота и трепетность, искренность и нежность. Иными казались мальчики: у одного из них (отнюдь не в связи с присутствием девочек — его сестры и кузины) на лице застыло выражение брезгливого, насмешливого превосходства — непонятно над кем и почему, — впрочем, среди мальчишек это встречается довольно часто. У другого мальчика косил один глаз — косил в прямом смысле слова, — этот глаз был прищурен и сильно отличался от второго, которым владелец его украдкой поглядывал на окружающих. «Да нет, беда не с глазом, а с возрастом, — сказал себе человек, которого поразило, как этот глаз может копить столько ненависти к взрослому, особенно к отцу. — В этом возрасте каждый становится тем, что он есть и чем будет всю жизнь. Может,

этот тип и не станет настоящим преступником, но на жизнь уж наверняка будет смотреть так же косо, как сейчас на присутствующих».

Так он размышлял за едой, предсказуемой и вкусной — скучноватой, одним словом; после завтрака завязалась беседа. Супружеская пара занялась своими делами, то есть тем, чем и должна заниматься чета гостей в чужом доме: жена взяла на руки своих близнецов, которые захныкали в один голос, а муж ходил возле круглого стола, фотографируя то одного гостя, то другого, то всех вместе, и аккуратно записывал адреса, чтобы потом разослать по ним готовые снимки. Человек, никогда их прежде не видевший — что само по себе обеспечивало некоторую новизну, — дабы скоротать время, принялся за ними наблюдать (к сожалению, с каждым разом он справлялся с этой задачей все быстрее), тщательно анализируя выражение лиц и действия этих незнакомых людей, с тем чтобы составить о них общее представление. Это оказалось нетрудно: женщина и впрямь была унылая и какая-то бесцветная, из тех, что выходят замуж во исполнение долга и умеют благодаря инстинкту и везению сопрячь этот долг с обетом любви — как супружеской, так и материнской. Ее брови и уголки глаз были опущены, что придавало лицу плаксивое выражение. Между передними зубами виднелась щелочка, которая, вероятно, в юности казалась настолько привлекательной, что женщина смогла найти себе жениха и даже выйти за него замуж.

Сыграв указанную роль, щелочка между зубами перестала представлять какой-либо интерес; в зрелом, тридцатипятилетнем возрасте женщина эта всем своим внешним обликом и манерой говорить (крайне мало, мягко, весьма рассудительно и очень жалобно) являла воплощение жены и матери, какой ее можно без труда вообразить и в пятьдесят, и в шестьдесят, и в семьдесят. В общем, была в ней, при всей ее слабости и блеклости, какая-то неброская, женственная сила, служившая залогом супруже-

ской верности и постоянства на всю будущую жизнь.

Супруг ее, также донельзя унылый, тоже всем своим видом обещал постоянство и верность в супружестве (правда, не на столь долгий срок и явно против воли, смиряясь с собственной участью). Он как бы говорил: «Я мог бы и еще могу добиться большего и от женщин, и от жизни вообще». Он говорил это молча и не столько себе самому, сколько другим: в душе он знал, что дальше своего теперешнего унылого положения не смог бы пойти никогда, однако надеялся, что, учитывая его внешнее благообразие, образованность и так называемые «хорошие задатки», выпестованные матерью-англичанкой, другие люди окажутся столь милы и добры, что будут думать именно так. И в то же время знал, что при всей их доброте это невозможно, не могли они так думать, видя его водянистые старческие глаза, двойной подбородок, обвислую грудь под тенниской и пуще всего — зад исхудавшего толстяка, настоящую гусиную гузку, которой он, совсем как гусь, медленно поводил из стороны в сторону при ходьбе.

Из слов его стало ясно, что деятельность менеджера вынуждает его жить в Турине, где он и купил дом; тут он ударился в подробности, связанные с покупкой домов: сколько стоит квадратный метр тут и сколько там, и сколько комнат, и сколько подсобных помещений, — и заключил, что домик у них — меньше некуда, но «удобный». Тема эта была, видно, его коньком, и, как явствовало из его слов, он не без душевных терзаний принимал решение, как и где потратить деньги — не свои, а семейные, предназначавшиеся на дом, который должен был стать их домом на всю жизнь. В Турине. Всякий раз, когда он заговаривал об этом, в рассказе отводя себе скромную роль знатока материалов, кафельной плитки и фарфоровых емкостей, жена слушала его с близнецами на руках (оба, кстати сказать, довольно уродливые) и, хотя одобря-

ла каждое слово, все же невольно опускала уголки глаз и кончики бровей еще ниже, словно извиняясь за него и за себя. Ей казалось необходимым безмолвно, лишь при помощи мимики, принести всем присутствующим свои извинения, иначе правила хорошего тона не были бы соблюдены.

Разговор, естественно, коснулся и политики; менеджер заметил, что по убеждениям и по статусу он либерал и за оных голосует. Судя по интонации, в этом он был совсем не убежден, как и во всем остальном (если не считать цен за один квадратный метр жилой площади), и словно давал понять, что по происхождению он консерватор — на английский (в мать) или на американский манер. И несмотря на исполненную достоинства позу истинного либерала, его волеизъявление и политические разглагольствования были столь унылыми, что высказаться больше никто не пожелал. Подростки заскучали — мальчикам и девочкам этого возраста всегда бывает скучно со взрослыми — и ушли. Все поглядели на море: на его спокойной поверхности выделялся белый в синюю полоску парус, надутый легким, еле ощутимым ветерком.

Хозяева дома, живые и очень деятельные, сновали между верандой и кухней, унося тарелки с недоеденной пищей, стаканы и прочее. Двигались они с хозяйской непринужденностью, которой при всем желании не хватало чете гостей. Наступил момент, когда речь волей-неволей заходит о прислуге. Но хозяйка дома исчерпала тему одной фразой: «Нужно уметь устраиваться, только и всего». Наблюдатель попытался вообразить, как обходятся без прислуги унылые муж и жена с близнецами в их «удобном» туринском домике. Помогли ему в этом несколько цветных фотографий, розданных гостям; по отдельным деталям можно было воссоздать квартиру и

быт этого семейства: супруги в домашних халатах — у каждого по близнецу на руках — на фоне стены кремового цвета, где висит в меру абстрактная картина; еще можно разглядеть спинку «современного» стула и ярко-красные керамические чашечки на столе. Потом вдруг появилось фото старшей дочери, лет девяти-десяти, которой с ними не было: маленькая гусыня, на бледном лице круглые глазки и носик-клюв, нескладная, с толстым низким задом и большими руками, похожими на перепончатые гусиные лапы.

Человек, которого хорошее воспитание и полученные в детстве головомойки вынуждали быть добрым и гуманным в своих суждениях, подумал: «Все-таки тоже люди», — дурацкая, явно чужая мысль, неведомо каким образом оказавшаяся у него в голове, скорее всего внушенная так называемым «человеческим общежитием». Мысль эта, слащавая и глупая, заставила его саркастически улыбнуться, но тут, наскучив сам себе, он извинился и ушел.

NOSTALGIA

НОСТАЛЬГИЯ

В один из дней давно минувшего лета женщина лет сорока с нежным детским румянцем на щеках и небесного цвета (обычно говорят «голубыми») глазами решила пойти на экскурсию или, вернее, просто на прогулку, по которым уже начала испытывать своего рода ностальгию. Дело было во время летнего отдыха; правда, место было не совсем обычное — наполовину отведенный под богадельню пансион на холме; заведовала пансионом бывшая учительница начальной школы — громадная, изжелтабледная и слепая, с запавшими глазницами, женщина; курорт был, что называется, «полугорный» и посему недоро-

гой. По этой самой причине Лаура — так звали нашу героиню — его и выбрала. Место абсолютно неинтересное и ничем не привлекавшее, кроме «чудного воздуха» на высоте триста пятьдесят метров над уровнем моря; но порою и там бывало жарко.

Вся, если можно так выразиться, курортная жизнь протекала на небольшом пятачке перед пансионом (старики, за редким исключением, на ладан дышали и выходили наружу крайне редко) — иначе говоря, перед домом и церквушкой, меж которыми возвышалась колоколенка, казавшаяся, если отойти подальше, небольшой крепостной башней с двумя пристройками. С вершины холма вниз вилась дорога, проходившая через заросли ежевики с просветами в виде покатых площадок — каменистых, выжженных солнцем и кишаших гадюками. Там же водилось множество ящериц — обычных и желтопузиков, — а лужа дождевой воды у подножия колокольни была прибежищем головастиков и лягушек. Неподдалеку располагалась большая каштановая роща, где почва была вся красная от сока деревьев и куда предпочитали не ходить — боялись заблудиться, приняв за тропинку следы многочисленных оползней. О якобы обитавших тут дикобразах и барсуках рассказывали больше для того, чтобы придать хоть какую-то примечательность этому безвестному месту, однако видели этих ленивых и осторожных животных немногие, да и те едва ли взялись бы с уверенностью утверждать это.

Делами в этом маленьком пансионе-богадельне, подчиненном слепой учительнице, заправляла ее племянница, крохотная девица с изъеденным волчанкой носиком. К числу платных постояльцев, кроме Лауры и ее двенадцатилетнего сына, ставившего тайные опыты с серой и калием для производства бомб, принадлежал еще один родственник слепой учительницы, инженер-кораблестроитель,

бежавший из Бенгази тем самым летом 1941 года вместе с семьей; это был черноволосый, крепкий, загорелый человек без одной руки — рукав его пиджака, отогнутый кверху, был приколот к плечу английской булавкой. К маленькой компании неизменно присоединялся довольно зажиточный и праздный крестьянин, взбиравшийся так высоко на своей двуколке в поисках партнеров для карточной игры. И не наша вина, что крестьянин этот, прозванный за непрерывные возлияния Вакхом, был одноног и потерянную в первой мировой войне ногу ему заменяла палка с резиновым наконечником.

Эта вот компания и должна была совершить прогулку до деревеньки (два дома и церковь), расположенной еще выше, где сравнительно с владениями пансиона дополнение было только одно: харчевня и при ней продовольственная лавчонка, пропахшая томатной пастой, выставленной в большущей банке посреди лавки. Говорили, что из банки торчит громадный деревянный черпак, а вокруг разложены клочки промасленной бумаги, приготовленные, чтобы накладывать на них пасту для взвешивания — не больше пятидесяти граммов.

Лаура присоединилась к маленькой компании, состоявшей из инженера, Вакха (он тоже захотел путешествовать пешком, выписывая кренделя деревянной ногой), сыновей инженера, его жены-арабки и еще одного крепкого старика из богадельни, который состоял при слепой учительнице поводырем. Сын Лауры остался в пансионе мастерить свое секретное оружие, предназначенное для взрыва колокольни. Все вдруг развеселились — может быть, потому, что местечко это было так скупо на новые впечатления (даже почта не приходила) и сам факт движения куда-то в обществе других людей единственно с целью прогулки вселял острую надежду на развлечения, на пикник — эту неотъемлемую привилегию любого курортного места, большого или маленького. Возможно — как знать? — в душе Лауры и инженера из Бенгази затеплилась симпа-

тия друг к другу, не более чем симпатия, связанная наверняка с тем, что ни та, ни другой не были счастливы в браке, можно даже сказать, были несчастливы,— инженер знал об этом, Лаура не ведала. Но проявления симпатии ограничивались разговорами о Комо, откуда инженер был родом, а Лаура бывала там в детстве и даже сохранила портрет, сделанный в местной фотостудии: картонный фон с изображением озера и гор, маленькая (но узнаваемая) Лючия Монделла в лодочке посреди озера, а перед картонным пейзажем — детский стульчик из бузины, на котором стоит, опершись пухлой ручкой о спинку, Лаура в розовом платье, подпоясанная голубым шарфом. Дальше этой подробности (инженер даже предположил, что знает, о каком именно фотоателее идет речь) симпатия не распространялась. Симпатизировал инженер и сыну Лауры, помогая ему строить пароход длиной в два метра, который должен был называться «Рекс», как знаменитый трансатлантический лайнер. Но сын Лауры, темная лошадка, был не столько кораблестроитель, сколько, как уже говорилось, пиротехник-одиночка, тайком занимавшийся своими опасными опытами в старом, заброшенном свинарнике.

Они взяли с собой рюкзак с провизией (по большей части хлеб и вино), который Вахх гордо нес, перекинув, как куртку, через плечо. Ведшая в гору тропинка была каменистой и обрывистой; по дороге то и дело попадались козы и коровы с колокольчиками поменьше и побольше, но без хозяина,— они подходили к путешественникам вплотную и заглядывали в глаза. Возможно, поводом к всеобщему веселью был еще термальный источник, который должен был встретиться компании за несколько сот метров до деревушки (весь путь составлял километра три),— пускай это лишь минеральная вода типа «Фьюджи», но все же хоть какая-то достопримечательность в унылом месте.

Лаура по натуре была веселая, правда несколько вос-

торженная, так что поход в обществе других людей до деревушки из трех домов, где прежде ей бывать не доводилось, наполнял душу щемящей радостью. И радовалась она не столько новому месту (издалека она видела его каждое утро, открывая окно), сколько самому путешествию и общей беседе (причем она и так каждый вечер беседовала со всеми), которая в данных обстоятельствах и в данный момент должна была быть — и действительно была — совершенно особенной. Радовала ее, конечно, и сама цель пути, но передвижение в летнюю пору из одного места в другое, из другого — в третье... — вот что было истинной причиной счастья. То же касалось и других членов компании, которые уже не раз совершали такие прогулки, пили воду из источника, покупали томатную пасту и рассказывали о деревеньке Лауре; теперь они повторяли, что воздух там несравненно чище, чем у них внизу. Раскрасневшаяся Лаура старательно вышагивала меж камней в тесно сдавивших ее пухлые ноги резиновых сандалиях и внимательно оглядывала каменные бортики по обеим сторонам тропинки, опасаясь гадюк и всяких черных змей.

Но удовольствие было велико: от воздуха, который — Лаура чувствовала — становился чище буквально с каждым метром, и от скакавших тут и там коз, и от встречи с жуком-оленем, врезавшимся в грудь слепой великанши учительницы, и оттого, что она не просто осталась одна, без любимого, но вредного сына, но и путешествует — сначала к источнику с обжигающей, как ей представлялось, водой, а потом к селению с незнакомыми магазинами.

Небо было ясное, светлое до белизны, как бывает в августе, когда на разлитое в воздухе солнце глаз поднять невозможно; резко пахло травами, навозом, ярко-зеленые кустики ягод казались смазанными жиром, а над каменистыми лужайками роились жужжащие летучие точечки — разные насекомые, среди которых нет-нет да и про-

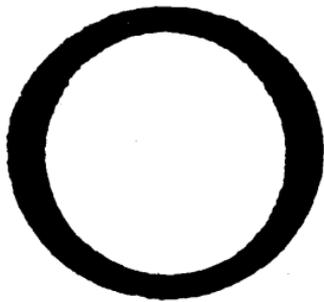
мелькнет похожая на мать-игуменью черная бабочка.

Вахх горланил грубоватые, озорные песни и получал за них от учительницы сильные и точные удары палкой; инженер из Бенгази впал в задумчивость — должно быть, размышлял о своем теперешнем положении безработного, хоть прежде и говорил, что думать об этом не желает; его жена и сыновья-полукровки с лицами цвета оливкового масла выглядели смиренным, чужеродным придатком, таким обособленным рядом небольшого кортежа, который призван сопровождать несуществующего Негуса.

И вдруг со стороны пансиона раздался грохот взрыва — короткий, быстрый звук, бесчисленные отголоски которого заговорили в лесах и долинах. Какая-то козочка взвилась на дыбы, Вахх запрыгал на своей деревянной опоре и повернулся назад. С виду ничего как будто не изменилось, но инженер, бывший немного в курсе подпольных махинаций сына Лауры, посоветовал немедленно возвращаться. Настроение Лауры резко упало, поскольку их компания уже почти достигла цели своей замечательной прогулки — до деревеньки оставалось каких-нибудь десять минут ходу. Они возвращались, и солнце, скрывшееся за гребнем близлежащего холма, уже не светило в лицо.

На первый взгляд ничего вроде не произошло, и лишь потом инженер, обследовав вдоль и поперек здание пансиона, хлев, курятник и площадку между церковью и часовней, обнаружил у подножия слегка покосившейся колокольни две большие трещины — следы взрыва. Он строжайше запретил звонить в колокола. Вахх решил спуститься в долину — известить карабинеров, и в этот самый миг бесследно исчезнувший сын Лауры объявился и со слезами признался в содеянном. Из уважения к Лауре инженер приуменьшил нанесенный ущерб, но все равно восстановительные работы должны были обойтись очень недешево.

Пока же колокольня грозила обвалиться, и требовалось укреплять ее подпорками. По соглашению с учительницей вину возложили на неизвестных. Но из-за сына-сумасброда, за которым нужен был глаз да глаз, прогулка больше не повторялась.



БЕЗДЕЛЬЕ

OZIO

Однажды незадолго до рассвета некоего чудака разбудила гроза: гром и молнии готовы были, казалось, расколоть стену, провода потрескивали и искрились. Чудак жил в маленьком домике, затерянном в лесу, и накануне зазвучал под режущий ухо крик неугомонной сороки — пожалуй, даже двух или трех сорок. А может, то кричали лягушки? Он все раздумывал об этом, несмотря на доносившийся снаружи шум. Да нет, все-таки не лягушки, наверняка сороки. Вопрос этот мучил его уже несколько дней. Человек размышлял над ним, зевая и растянувшись поперек большой кровати с жесткими простынями — так его застиг сон.

Еще сквозь дрему он увидел молнию и услышал раскаты, вой ветра, шелест дождя, и среди всего этого шума его поразил странный звук, похожий на плеск фонтана. Он встал и открыл окно. Сквозь голубовато-серую мглу было видно, как раскачивались исхлестанные ветром и дождем деревья. По небу быстро пробежали белые, легкие, как дым, барашки, над ними, во втором ярусе, плыли серые облака, а еще выше почти неподвижно застыли свинцовые тучи, которые невидимое солнце обвело желтоватой каймой.

Он поспешно оделся и снова спросил себя, что это мог быть за плеск, — любопытство гнало человека наружу. Спустился на первый этаж, открыл ставни и двери, и его обдало брызгами дождя. Выходить так или иначе пришлось: дом весь пропитался сыростью, и надо было принести дров и разжечь огонь, а поленица была в сарае.

Человек надел фуражку, вышел, глядя вверх, откуда доносился плеск, и сразу заметил, что в водосточных трубах вода фонтанчиком бьет из отверстий, издавая тот самый звук. Но кто же мог проделать эти дырочки, такие маленькие, круглые и одинаковые? Протиснувшись в сарай,

он тщательно отобрал щепу на растопку и толстые поленья — чтобы подкладывать, когда разгорится.

Он возвратился в темный дом, освещаемый лишь зеленоватыми вспышками молний, прошел к камину, разложил бумагу, дрова и поджег. Поленья были сухие, и, как всегда, оказалось достаточно горящей бумаги, чтобы они занялись. Затем он отправился на кухню и стал возиться у плиты, готовя кофе. Дрова, невзирая на сырость, разгорались прекрасно, в камине гулко, порывами, тянуло.

Сидя у огня, он выпил кофе и закурил. «И кто мог так изрешетить водосточные трубы?» Немного поразмыслив, пришел к выводу, что пробиты они дробью: стало быть, охотники. Охотники на птиц в его отсутствие стреляли наудачу и попали по трубам.

Ему не давало покоя желание срочно сделать что-то, только он не знал что именно и потому попытался уяснить себе, какого рода деятельность ему сейчас необходима, к чему он должен приложить переполнявшую его энергию.

«Да, так что же мне сделать? — спросил себя человек, которому казалось, что у него уйма дел. — Что мне нужно в первую очередь?» Но, сколько он ни ломал голову, никакое дело не вырисовывалось. Человек поежился и обрадованно подумал, что первым делом должен надеть свитер. Какой? У него их было три, разной толщины, и после долгих прикидок он решил, что средний как раз подойдет. Шерстяной, но легкий. Он помчался наверх так, будто свитер норовил удрать из-под рук, и надел его.

Сел, опять закурил и стал ждать, пока избыточная утренняя энергия, будоражившая его мозг, примет ту или иную форму и выльется хотя бы в одно конкретное действие. Одно малюсенькое дело надумал — сходить еще раз за дровами для огня, поглотившего два полена, как показалось человеку, в мгновение ока.

Потом уселся на высокий неудобный стул, рассудив, что чересчур уютное кресло не соответствует утреннему

времени и не годится для того, чтобы проворно вскочить и приняться за работу. Но на этом неудобном стуле ему вспомнилось что-то вроде сказки, которую, сочиняя на ходу, он рассказывал накануне вечером одному пятилетнему мальчугану: про крепкого, сильного и косматого, с торчащей кверху острой бородкой карлика, который живет поблизости и бродит по округе. Карлик этот — скорее не карлик, а эльф или гном — приходится человеку в некотором роде другом, хотя скуп на слова и картавит.

— А что на нем надето? — спросил малыш.

— меховая курточка, такой длинный пиджак из кусочков меха, сшитых как попало. Он заходит в дома и просит одолжить ему иголку с ниткой, но пальцы у него маленькие, корявые, и непонятно, как он может держать иголку. Живет он один, бродит по лесу и по берегу, а когда ничем не занят, сам шьет себе одежду.

— А мех на курточке от какого зверя? — опять спросил мальчик.

Он во всем любил точность, особенно в определениях, и подчас употреблял такие слова, как «изысканный» и «восхитительный», слегка шепелявя и сопровождая слова жестами, правда, какими-то неопределенными, мечтательными.

Человеку тут же пришел в голову неожиданный ответ.

— От крысы, — сказал он небрежно.

Лоренцо, услышав это, разжал пальцы, вытаращил глаза и онемел от изумления.

Теперь, сидя на неудобном стуле, готовый в любую минуту вскочить и потратить всю свою энергию на какое-нибудь — никак не находившееся — дело, человек решил продолжить историю про карлика и в одиночестве придумать новые подробности, которые он смог бы потом рассказать Лоренцо. Но ни одна, ни малейшая идея не забрезжила в мозгу, как будто глухая ночная тишина и сон унесли с собой способность импровизировать, побуждаемую

расспросами мальчика. Человек услышал, как далеко, по ту сторону реки, колокола прозвонили полдень.

— Полдень? — удивился он. — Уже полдень. Невероятно. Итак, я потерял все утро. А надо еще приготовить поесть. — Человек этот жил совсем один.

Кое-как состряпав обед, он расстелил скатерть и спустился в погреб взять покрытую паутиной бутылку с вином. В погребе он заметил жирную крысу, которая при виде его неторопливо удалилась, вихляя задом на манер некоторых американцев и волоча за собой отвратительный хвост.

Опять начиналась гроза.

— Вторая, всего за несколько часов, — недоверчиво пробормотал он. — А уж почти что солнце проглядывало... Ну и чудная погода! — Но при этом подумал о самом себе, о собственном характере, и нешуточное удивление сменилось ворчливой замкнутостью.

Небо потемнело, и опять деревья гнулись на ветру, а по крыше стучал дождь; капли попадали в камин; вдалеке, на большом лугу, кто-то высвистывал мелодию песенки — доносились ее красивые переливы, — неужели в такой ливень можно гулять по лугам?

Человек пригляделся и действительно увидел, как появился и тут же исчез большой черный зонт. Небо все хмурилось, стало совсем темно, и многочисленные дела, к которым он душевно стремился, пришлось отложить. Он поднялся наверх, лег, накрылся пуховиком и заснул. Однако вскоре проснулся; прошло только десять минут. Он чувствовал себя прекрасно и был полон энергии.

Теперь он готов был взяться за все, до чего утром руки не дошли. Только вот темень какая! Он пошел за дровами — подкормить огонь в камине и немного осветить комнату.

«Так ведь этот карлик, гном этот, в сущности, я сам», — подумал человек, радуясь своей мысли, но внутренний голос возразил ему: «Гном работает, ты ведь говорил,

он пилит дрова, складывает их в кучу и превращает в уголь».

— Ну да,— сказал человек вслух, поскольку все равно никто его не слышал,— в уголь.

«А ты что делаешь?» почудился ему голос Лоренцо; мальчик улыбался, широко открыв глаза и склонив набок белокурую головку.

Человеку показалось, что он видит во тьме склоненную лучистую головку: волосы, брови и ресницы Лоренцо были такие светлые, что буквально светились в темноте, бросая отблеск на веселые голубые глаза.

«Бесенок, да и только,— подумал человек вполне серьезно.— В самом деле в нем есть что-то бесовское... Ну, во-первых, это свечение в темноте...» Он говорил вслух за обоих — за себя и за Лоренцо. Снаружи воцарилась полная темнота, монотонно шумел дождь, и человек иногда различал стук отдельных капель по листьям. Он взглянул на часы: шесть. Как могло пройти столько времени? Не может такого быть, невероятно. Но, как ни трудно было в это поверить, за его фантазиями, за размышлениями оно и пролетело.

«Итак, день фактически кончился,— сказал он себе,— настоящий день безделья.— Теперь уже было слишком поздно браться за какое-либо из множества дел.— Придется отложить все до завтра. Даже до понедельника»,— потому что была суббота. Человек вспомнил, что утром, в суматохе назревших дел, он не привел себя в порядок, под давлением энергии, требовавшей скорейшего применения, забыл умыться, побриться. Он провел рукой под подбородком. «Поздно теперь бриться, ни к чему, день уже прошел. Да и темно».

Действительно, единственным источником света в домике было пламя камина, лизавшее толстенный чурбан: то тут, то там из-под полена вырывались острые язычки — такие же бесята, как Лоренцо, и так же смеялись над ним.

Человек приготовил себе ужин — накрошил в чашку с

бульоном черствого хлеба. Есть не хотелось.

— А что гномик ест? — спрашивал у него Лоренцо.

— Бульон, бульон с хлебом, — не задумываясь, ответил человек.

— Всегда только бульон с хлебом? — прошепелявил бесенок, у которого на днях выпало два зуба.

— Да.

— И все?

— И все.

P

ОТЦОВСТВО
РОДИНА
СТРАХ

ВЫДЕРЖКА,
ВЕСНА

ПОЭЗИЯ
БЕДНОСТЬ

PATERNITÀ
PATRIA
PAURA

PAZIENZA,
PRIMAVERA

POESIA
POVERTÀ

Каждый день Пьеро Томмазео-Понцетта смотрел на сыновей с чувством отцовской любви: красивые они были ребята, притом выделялись той античной красотой, какая ныне встречается крайне редко, — не слишком высокие, под стать эллинским пехотинцам, носившим тяжелые доспехи, этакие этрусские Аполлоны, совсем непохожие друг на друга; старший — неторопливый, с лвиной повадкой, младший — порывистый, со светло-голубыми глазами, блестящими, словно эмаль, из-под длинных черных ресниц. Пьеро смотрел на сыновей с нежностью и все время делал попытки к сближению — старался приласкать, поцеловать, обнять, как маленьких; но и взгляды его, и ласковое обращение были сыновьям неприятны.

В действительности отношение Пьеро к своим детям производило странное впечатление — и со стороны, и на самих его сыновей; так ведет себя уже немолодая влюбленная женщина, умоляющая (о взгляде, ласке, поцелуе) и смиренная (в случае отказа). Он глядел на них, как бы обессилив от чрезмерной любви, и взгляд этот неизменно наталкивался на решительный, эгоистичный протест в глазах сыновей, напрягавших свои упругие, сильные мускулы. Одним словом, это был взгляд человека, захваченного страстным чувством и полного несбыточных иллюзий.

Летом Пьеро вместе с многочисленной родней — братьями, свойственниками, племянниками — жил за городом; играющая ребятня беспрестанно сновала под ногами у взрослых, разгуливающих по саду и скотному двору, где ржали лошади, тявкали собачонки, кудахтали куры в пылу любовных баталий с петухами или по поводу несенного яйца.

За домом, в огороде, улитки ползали по листьям салата, кролики жевали свой корм, то и дело молотя лапами по неустойчивым замшелым клеткам, которые хозяину

полагалось бы почистить: нынче была его очередь ухаживать за мелкой живностью и возиться в огороде. Пьеро и в самом деле вертелся как юла, снова и снова мерял быстрыми шагами расстояние между огородом и скотным двором, внимательно, сквозь очки осматривал растения и животных, а затем вновь устремлялся на скотный двор, в дом или исчезал в зелени. Часто его можно было увидеть в укромном уголке на скамейке, жующим бутерброд с ливерной колбасой.

Однажды вечером — с сияющего огнями двора были видны над тополями только самые высокие звезды — в загородном доме был устроен ужин, небольшое торжество, которых Пьеро терпеть не мог, будучи человеком диковатым, нелюдимым и бережливым. Огней горело в помещении множество — Пьеро погасил бы их все, чтобы не расходовать электричество, а на этих званых обедах и празднествах он не появлялся, дабы не расстраиваться по поводу расходов на угощение. Появляться не появлялся, однако со двора доносился его голос: «А счетчик-то крутится...»

Праздник был устроен по случаю того, что друзья на время отдали жене Пьеро рояль, и не какой-нибудь, а «Стейнвей». Звучала музыка, танцевали, многочисленные домочадцы и знакомые нахваливали новую вещь, а Марчелла, жена Пьеро, сидела за роялем. Стоило открыться какой-нибудь двери, как на скотный двор ложился снап света, звуки пения и музыки проникали сквозь крапиву в огород, кролики наостряли уши, улитки принимались за салат, одни куры спали.

Пьеро по своему обыкновению держался в сторонке, в тени галереи, со своим маленьким, независимым шматочком ливерной колбасы, сетуя в который раз на собственную робость и, как всегда в присутствии гостей, не зная, на что ему решиться; он великолепно справлялся с ролью

причудника из театра Гольдони, выдумывая все новые мизансцены. Он знал, что другим это нравится. Однако и сам с нетерпением дожидался того момента, когда появится в доме среди огней и звуков одновременно с выносом торта — медленно и неотвратно, крошечными, едва заметными кусочками он мог бы съесть его весь. Теперь этот момент, рассчитанный Пьеро в темноте с точностью до секунды, был уже близок, но тут вдруг из скопления огней вырвался Лодовико — младший, порывистый, с эмалевым блеском глаз,— и, обнаружив скрючившегося на скамейке отца, бросил:

— Дай ключ от машины.

— Зачем это? Зачем? — забеспокоился Пьеро.

— Надоело тут, поеду потанцюю,— только и сказал сын, державший за руку молоденькую блондинку.

Пьеро, пораженный в темноте красотой атлетически сложенного сына, испытал новый прилив отцовской любви.

— Куда? — произнес он изменившимся, но отнюдь не строгим голосом. Голос его был громок, но слаб. Сын одерживал верх и знал это.

— На Лидо, в Венецию,— ответил он торопливо.— Ну, давай ключ.

Отечская любовь и исполнение роли или исполнение роли любящего отца всколыхнули Пьеро.

— На Лидо, так поздно? И думать нечего.

— Ключ,— приказал сын, раздувая ноздри. Он тоже исполнял роль; образовался сценический дуэт.

— Сейчас, ночью? И думать нечего. Ни за что.

— Все равно поеду,— отрезал Лодовико и побежал к старой машине.

Из дома вышел народ — братья, свойственники, друзья. Пьеро тоже бросился к машине. Завязалась потасовка, в ходе которой Пьеро лез к сыну с объятиями и поцелуями, получая в ответ пинки и тычки.

— Лодовикетто,— приговаривал он,— ты с ума сошел, так поздно!..

— Ах так, тогда поеду на мотоцикле,— сказал сын и направился к гаражу, где стояли мотоциклы. С грохотом выехав оттуда, он жестами показал вставшему было на пути отцу, что наедет на него, если тот не посторонится. Девушка вскочила на заднее сиденье.

— Лодовикетто, ты сошел с ума,— канючил Пьеро,— так поздно в Венецию, ну не огорчай своего папу...

— Уйди с дороги! — крикнул Лодовико.

Он колесил по двору, преследуемый отцом и гостями. Почти все нарочно взяли сторону Лодовико и убеждали Пьеро уступить, дать парню машину. Мол, время летнее, ребята молодые, все вместе договорились ехать на Лидо танцевать...

— Не пуцу! — в отчаянии завопил Пьеро и побежал к воротам. С грохотом несшийся Лодовико все же притормозил и предостерегающе крикнул:

— Отойди, задавлю!

— Поздно уже, будь осторожен.— Первая уступка, за которой тут же последовала вторая: — Деньги есть? Дать денег? — Он вынул из кармана бумажник, потертый, с обтрепанными углами, как у какого-нибудь оборванца (Пьеро им пользовался, только когда жил за городом), и отвернулся, чтобы никто не видел, как он достает деньги.— Две тысячи,— сказал он, чмокнул купюру, прежде чем протянуть ее Лодовико, потом добавил: — Милый ты мой,— и сложил толстые губы для поцелуя.

— Не надо мне ничего,— ответил сын.— Оставь себе и свои деньги, и свою машину.

— Пять тысяч, десять тысяч,— кричали вокруг, призывая Пьеро раскошелиться.

— Пять тысяч Лодовико и пять — Альвизе,— предложил кто-то; Альвизе, второй сын, молча подошел и стал рядом, угрожающе сдвинув брови.

— Однако, пять тысяч,— пробормотал Пьеро.

Тут Лодовико рванулся вперед и направил мотоцикл прямо на отца, едва успевшего отскочить.

— Ничего мне не надо,— повторил он, нажимая на газ.

— Пять тысяч...— Пьеро стал вслепую шарить в бумажнике и при этом кидал на присутствующих подозрительные взгляды.— Но сперва поцелуй меня,— и он, соблюдая осторожность, подставил Лодовико губы.

— Отойди, а то схлопочешь,— ответил тот.

— Милый ты мой,— вздохнул Пьеро, растягивая в улыбке большеносое лицо,— Лодовикетто, сынок...

— Ну тогда Альвизе, поцелуй Альвизе,— предложил кто-то.

Альвизе мгновенно отпрянул, но отец уже был тут как тут.

— Альвизино,— проговорил Пьеро, сияя,— милый.— Но увидел в сантиметре от своего лица кулак Альвизе.

Мотоцикл оглушительно ревел.

— Ну ладно, пока,— сказал Лодовико и сделал еще один рывок к воротам.

— Стой, стой,— закричал всполошившийся Пьеро.— Две тысячи.

— Ничего не надо.

— Ну тогда я дам тебе машину. Милый...— Третья, самая серьезная уступка.

— Ничего не надо,— повторил разгоряченный Лодовико, поигрывая мускулами и явно забавляясь. При луне кожа его блестела, будто круп скаковой лошади. Он немного вспотел в своей махровой белой майке.

— Милый,— сказал Пьеро,— весь в меня, ну вылитый я.— Он снова потянулся к одному, потом к другому сыну в надежде выпросить поцелуй у кого-нибудь из них, а то и у обоих. В ответ последовали тычки. Пьеро был наверху блаженства.

Автоприцеп с друзьями и их детьми тронулся в путь, светясь окошками, точно отплывающий из порта корабль. Залаяли собаки.

— Ну хватит, уйди,— сказал Лодовико, в последний

раз резко рванул с места и в своей белой майке умчался вместе с прильнувшей к нему девицей. Альвизе вошел в одну из дверей, откуда лился свет, и собрал в две кастрюли объедки для кур и собак: огородом, курами и кроликами заведовал теперь он. Пользуясь случаем (руки у Альвизе были заняты), Пьеро обнял его и, вытянув губы трубочкой, поцеловал.

— Отойди,— прорычал Альвизе, угрожая вывалить на него содержимое кастрюль.

— Сынок,— Пьеро смеялся от счастья,— детки...

PATRIA

РОДИНА

Однажды в начале зимы 1942 года, когда с холодного бело-голубого неба сыпались легкие снежинки, мальчик вышел из дому, чтобы идти в школу. Города в те годы были похожи на сады с огромными ливанскими кедрами, дроздами и обширными незастроенными пространствами, а эта латынь, эти склонения, эти глаголы — что общего у них с запорошившей улицы легкой белой пудрой? Какая мороза — латынь, и какое блаженство — этот снег, какая свежесть! В городе пахло струганым деревом, почти что лыжами, теми самыми «Хайкори», о которых он так мечтал, отыскивая это слово в словаре. Такие мысли носились в голове Франко, когда возле писсуара он заметил сидящего на земле человека: вскидывая палку, тот пытался упереть ее в землю. Вокруг не было ни души — в восемь часов утра пустынные улицы еще сохраняли нетронутую белизну, лишь кое-где по пороше змеились следы велосипедов, — и человек, увидев мальчика, позвал его через улицу. «Эй, эй», — крикнул он и замахал рукой.

Франко с опаской подошел и тут же узнал в человеке инвалида первой мировой войны, который со своей палкой

ходил на деревянной ноге по городу и громко бранился. Три орденские ленточки в петлице, шеврон инвалида и фашистский значок придавали ему солидность, да и вообще он был подтянут и ухожен, говорили, получает приличную пенсию, однако бродил всегда один и часто бывал пьян; входя в таверну или бар, он цеплял о стойку свою красивую бамбуковую трость, заказывал, пил, а потом говорил, что выпивка полагается ему даром, как инвалиду войны. За этим следовали вспышки гнева, такие неожиданные и неистовые, что мало кто решался ему возразить, да и то оставался не рад. Все у него было какое-то серое, светло-серое с серебристым отливом,— и костюм, и глаза, и лицо, отличавшееся особой бледностью, которая сохранялась даже тогда, когда он орал и сыпал угрозами, как будто сам он уже мертвец, а эти порывы гнева и походка рывками, на негнущейся ноге, что служила ему опорной осью при поворотах, приводились в действие каким-то заводным устройством.

— Канальи, крысы тыловые! — выкрикивал он.— Ходите себе, да? На двоих ходите, а я свою за вас отдал, канальи,— и колотил по ноге палкой, чтобы слышался стук дерева. На голове он носил серую фетровую шляпу, что-то вроде котелка, с широкой черной лентой.

Казалось совершенно невероятным, что он мог в случае надобности попросить денег у прохожих, но именно его шикарный вид наводил страх на людей, и мало кто отказывал. Он брал деньги и, не поблагодарив, уходил.

Кто же он был такой?

— Держись подальше, он опасен,— говорил Франко отец.— Всегда был страшным человеком, может, и сейчас служит в сыске... Это ветеран из ударного батальона, потерял на войне ногу и теперь совсем взбесился.

— А он один живет, без семьи? — спросил Франко.

— Есть у него женщина, да только на люди она не показывается: он ее палкой лупит, даже в тюрьме за это сидел.

И все-таки Франко подошел: его словно что-то подталкивало к этому злому шуту; лицо человека было бледное и казалось напудренным, шляпа валялась в нескольких метрах; он тщетно пытался упереться во что-нибудь палкой, чтобы встать. Резиновый наконечник скользил, оставляя росчерки на тонком слое снега, при этом инвалид изрыгал проклятия. Возможно, он был пьян — рядом виделось пятно блевотины. Дул ледяной ветер; белый, застывший солнечный диск освещал все вокруг, не давая ни тепла, ни тени. Инвалид с синими, будто тронутыми тленом, губами и трещинами в углах рта глянул на Франко снизу вверх сквозь казавшиеся подкрашенными ресницы.

— Эй, ты, ну-ка подыми меня,— скомандовал он и протянул руку к Франко; тот позволил ему за себя уцепиться. Но, пытаясь его приподнять, Франко явно не рассчитал своих сил: деревянная нога заскользила по снегу под углом к другой, будто никак с ней не связанная.

Инвалид выругался и обратил всю досаду против мальчика:

— Ах ты, чертов сын... Ну, чего стоишь, остолоп, подымай!

Франко почувдилось, что синие губы инвалида сложились в презрительную, вызывающую усмешку. Франко поставил свою школьную сумку на землю и попробовал тянуть его за руку обеими руками, но деревянная нога двигалась сама по себе, словно ампутированная, отъезжала назад, и мальчику услышалось поскрипывание дерева и кожи.

Инвалид из бледного стал лиловым. «Собака»,— ругнулся он и прибавил еще несколько слов; на губах его пузырилась пена. Правда, почти тотчас же успокоился и привалился к стене, устраиваясь поудобнее, хотя нога все еще была вывернута назад. Франко наклонился над ним и хотел было сделать новую попытку, но человек остановил его:

— Ну-ка стой, погоди минутку.— С этими словами он пошарил в правом кармане пиджака (он был без пальто), достал пачку сигарет «Турмак», открыл ее, взял одну и вложил в синие губы позолоченный мундштук. Закурил.— А ты знаешь, что такое родина? — спросил он у Франко так, словно сидел в мягком кресле и вел светскую беседу. Франко молчал, и человек повторил свой вопрос: — Родина, что такое родина?

Франко стал лихорадочно соображать, но, как с ним часто случалось в школе, когда вопрос заставлял его врасплох, ответить не смог.

— Родина... родина...— мямлил он и неожиданно для себя выпалил: — Это нагорье Азиаго.

Инвалид как будто не услышал его, только выругался и стукнул костяшками пальцев по протезу, который отозвался на пустынной улице так, словно удар пришелся по деревянному шкафу.

— Вот она, родина, дурак, моя нога — нога, которую я отдал родине,— и снова затянулся из золоченого мундштука.

— Давайте попробуем еще раз,— предложил Франко.

Он обеими руками вцепился в плечо инвалида; тот повис на нем точно куль, и Франко разглядел очень красивый атласный галстук с жемчужной булавкой. Мальчик уперся ступней в резиновый наконечник и начал тянуть вверх человека, который как будто раздумал подниматься. Но наконец он все-таки встал, тяжело опираясь на палку. Франко подобрал лежавшую рядом шляпу и протянул человеку, тот глубоко надвинул ее, сбил чуть набок и опустил поля, затем попробовал сделать несколько шагов с помощью палки; нога закрипела. Противным, слащавым голосом человек проговорил:

— Помогите-ка мне,— и указал на соседний писсуар.

Франко не понял, что он имеет в виду, и тогда человек тем же голосом объяснил, что у него окоченели руки и он не сможет расстегнуться. Длинные жесткие пальцы

схватили Франко за локоть; опираясь на мальчика, инвалид одновременно подталкивал его к писсуару. Сначала Франко послушно пошел, но вдруг отстранился и сказал:

— Нет.

Инвалид прислонился к стене, поднял палку и мгновенно обрушил ее на мальчика. Франко отвернул голову, и удар пришелся по плечу.

— Сукин сын,— прошипел инвалид,— сказать «нет» тому, кто отдал ногу родине!

Франко подобрал сумку и пустился бежать. Оглянувшись, он увидел, как инвалид один, с превеликой осторожностью, входит в писсуар; небо слегка потемнело, и с него начали срываться белые крупинки.

PAURA

СТРАХ

Однажды туманным вечером по венецианскому Лидо, оглашаемому воем сирен, шла, возвращаясь домой, женщина: ей было семьдесят лет, она была вдова, и в жизни мало кто составлял ей компанию, если не считать череды сямских кошек лет двадцать назад, затем бассета, который очень скоро умер, оттого что она его перекармливала (он ничего не ел, кроме лапши с маслом и куриной печенки), и мужа. Но муж тоже умер — в позапрошлом году, и осталась лишь смутная память о высокой сутуловатой тени с маленькими усиками, таявшей теперь, при воспоминании о нем, в тумане. Недавно она завела канарейку.

В облике женщины было что-то детское и одновременно животное: кругленькая, в шубе на меху, делавшей ее еще более круглой, в круглой меховой шапке, она ступала сквозь туман на своих хрупких столбиках-ножках с неуверенностью малого ребенка, который учится ходить. Она брела медленно, словно ее тащила

вперед холка, жирная, выпуклая, вроде небольшого горба на границе короткой шеи и хребта: это место между головой и спиной заключало в своей толще животную, свиную силу — секрет деспотизма и себялюбия этой женщины. Правда, как бывает у подобных натур, соединивших в себе животные и человеческие черты, у нее были светло-голубые глаза непослушной, капризной и бесконечно наивной девочки-хохотушки. Так, вместилище хрупкости, животной природы, капризности и веселости, она медленно (но неуклонно) продвигалась в тумане по пустынным бульварам Лидо. Шла и думала, и мысль ее тоже была полуживотная-получеловеческая, будто во сне: то ли мысль, то ли ощущение.

Она думала о кастрюле-скороварке, которую видела как раз сегодня вечером и хотела бы купить, но не была уверена, что научится ею пользоваться, и побаивалась, что пар, скопившись, может привести к взрыву. Именно скороварки не хватало в ее коллекции кастрюль, совершенно новых, — она держала их вместе с огромным числом старых в монастырском сарае, который снимала у монахинь: кроме кастрюль, там были одеяла, матрацы, полный сундук белья, что-то из мебели и коробки, но что в них, она сейчас не помнила, — может, гипсовые фигурки от старых рождественских ясель и елочные игрушки. Их как сложили в коробки, так с тех пор и не вынимали. Раньше, при муже и сыне, когда сын был еще маленький, она устраивала на рождество миниатюрные Христовы ясли и наряжала елку.

От этой мысли об одиночестве, связанной с вещами и людьми, канувшими в небытие, ей стало немного не по себе. Но мысль эта вскоре уступила место другой, сосредоточенной, как всегда бывает у стариков, на подробностях, непосредственно относящихся к их собственной жизни, — о сыром пятне, что, казалось, увеличивается с каждым днем, на потолке в спальне. Почему управляющий палец о палец не ударил, хотя к нему тысячу раз

обращались? Женщину охватила ярость: сила, всецело заключенная в холке, как бы спрессовалась в глубокое ощущение несправедливости и нанесенной ей обиды, и в душе она обвинила далекого сына, про которого даже не знала, жив ли он или тоже умер.

Она медленно шла своей детской и несколько тяжеловатой походкой, говорящей о том, что душа, столь тесно связанная с мышцами, сухожилиями и нервами, уже уступила иллюзиям прошлого и ничего другого не остается, как двигаться по течению, подобно лодке. Трижды, низко и протяжно, проревела сирена на каком-то буксире, а может, на пассажирском пароходе — океанском лайнере, вышедшем из канала Святого Марка. При этом настроение у женщины, как всегда, когда она слышала звук сирены, стало пободрее, и шаг — тоже.

«Будь у меня возможность, я бы зимой ездила в круизы. Хорошо бы и мне, пока жива, совершить небольшое морское путешествие», — подумала женщина, и мысль о путешествии словно бы тоже взбудрила ее: она никогда не боялась путешествовать — напротив, обожала ездить и вся оживала и загоралась, стоило ей, с максимально возможной при ее комплекции и возрасте легкостью, поставить ногу на подножку поезда или междугородного автобуса. Она бы и в самолет села. Но сейчас она шла в густом тумане по Лидо. Она слышала, как деревья роняют капли, как шумят сточные воды в канале, слышала плеск лагуны, близкой, хотя и невидимой.

Она подумала про канарейку и тут же вспомнила белочек из Шенбруннского парка в Вене, которые ели с руки. Время от времени в голове мелькало очередное воспоминание, светлое, чистое, где она отчетливо видела себя молодую, сына, мужа и его усики (она помнила их черными), другой город, лето на пляже, что был в нескольких шагах, тот же пляж ночью, с холодным и сырым песком, кафе-мороженое, огни и потом вдруг заснеженные и обледенелые улицы Кортины д'Ампеццо, где она,

чтобы не поскользнуться и не упасть, должна была ходить мелкими шажками.

Мысль подсказала шаги или шаги подсказали мысль? Как бы там ни было, она услышала за собой шаги и голоса. Судя по голосам, сзади шли подростки, которые быстро догнали ее, она их почти не видела из-за тумана, залепившего очки, лишь смутно различила одного из них — длинноволосого, что прошел совсем рядом и посмотрел на нее. Поравнявшись с женщиной, подростки перестали разговаривать и пошли молча. Снова послышалась сирена океанского лайнера, который был уже на линии маяка, откуда начиналось открытое море. «“Рекс”, — подумала женщина и вспомнила брата, умершего много лет назад, — помощника капитана на «Рексе». Но ведь «Рекса» больше нет. Или он не потонул?» — спросила она себя и тут заметила, что парни все еще рядом — замедлили шаг, идут молча.

Один из них приблизился и как раз на мосту (слышен был плеск канала под деревянным настилом) загородил ей дорогу. Женщине было страшно, и с тем безотчетным, внезапным, невысказанным ужасом, какой в подобную минуту должен испытывать нормальный пожилой человек, она подумала о смерти. Вот и все: плеск, туман, вечер, намокшая в черной воде канала шуба, кладбище. Она услышала голос парня — очень низкий, будто у немолодого и к тому же пьющего мужчины. Парень сказал:

— Отдавай сумку, или я тебя **кокну**.

У женщины тряслись ноги. «А чего мне так уж бояться смерти?» — подумала она. В этом «я тебя **кокну**» было полное незнание реальности. «Чего мне так уж бояться смерти? Я одна, у меня никого нет». И, содрогнувшись, она ответила медленно, но твердым голосом:

— **Кокни** меня.

Парень мялся.

— Отдавай сумку, — повторил он своим хриплым, неестественным голосом, чуть глуховатым в тумане. Изо

рта у него шел пар.

— Не отдам, **кокни** меня, увидим, способен ли ты на это.

Она обеими руками прижала к себе сумочку и взглядом, полным силы, животной силы, посмотрела на размытый силуэт парня — длинный и изогнутый в форме буквы «S».

Парень ткнул ее кулаком в плечо, и женщина, потеряв равновесие, ударилась о парапет моста. Но опять она потребовала, на этот раз голосом, дрожащим от негодования, сквозь стиснутые зубы:

— **Кокни** меня.

И тут парень бросился бежать, а за ним и двое других.

Женщина была не в себе, ноги не держали ее, и, боясь упасть, она, скорчившись, привалилась к парапету. В глазах стояли слезы, застилая зрение.

— Дрянь, убийца, **кокни** меня,— не то сказала, не то подумала она и заплакала — плечи ее вздрагивали.

Мало-помалу страх прошел, ноги (она попробовала два-три раза выпрямиться на них) начали слушаться, и она поплелась дальше, к дому. Она все равно еще немного трусила, ведь путь пролегал по улице, куда убежали подростки. Быть может, они подстерегают ее где-нибудь поблизости, впереди. Но теперь она чувствовала, что час ее не пробил, что она может спокойно вернуться домой, только вот идти надо потихоньку.

PAZIENZA,
PRIMAVERA

ВИДЕРЖКА,
ВЕСНА

В один из дней февраля (ближе к концу) на крыльце (на маленьком — как и всегда — крылечке) мужчина и женщина, забывшие в тот момент о своем возрасте,

вели разговор. Мужчина был лысый, а женщина пузатая, но не беременная.

— Дело в том, что нам больше нечего сказать друг другу,— изрекла женщина.

Мужчина подумал, что подобные фразы произносились в мире миллиарды раз, но почему-то банальностью так и не стали, более того, от ее слов у него заняло в груди.

— Порой это не так уж важно, не обязательно разговаривать, можно и просто вместе побыть. Тоже кое-что...

— Я другого мнения,— сказала женщина, собираясь возобновить тем самым разговор о несходстве взглядов и о необходимости решительного разрыва, который положил бы конец «этой слишком затянувшейся истории».

Мужчина промолчал. «Что тут скажешь? — подумал он.— В подобных случаях лучше молчать». Но и эта мысль, как отметил про себя мужчина, миллиарды раз приходила кому-то в голову и столько же раз оставалась невысказанной. Он решил изменить тактику и сказал:

— Так ведь, если поразмыслить как следует, все люди одиноки, разве нет?

— Может, оно и верно, да только я не могу с этим мириться. Если я сполна отдаю, то и получать хочу сполна, только тогда двое — действительно пара.

«Увы!» — подумал мужчина.

Крошечная пичужка опустилась на землю и, прыгая туда-сюда по-птичьи, лапки вместе, потихоньку припевала. Она была совсем маленькая, хрупкая и в отличие от других птиц не искала на земле, что бы поклевать. Поскакав немного среди пыли, она вспрыгнула на кучку слежавшегося, черного от копоти снега, погрузила туда весь свой клювик и, выдержнув его, с изумлением завертела маленькой головкой. Затем вспорхнула на ветку и защебетала уже в полный голос. От этой ветки отходили серые веточки поменьше, на которых через равные про-

межутки едва наметились зеленые точки — даже не ясно было, то ли есть они, то ли нет.

— Так что лучше б ты оставил меня и шел своей дорогой, а я — своей, будем, как прежде, друзьями, — сказала женщина и повела огромными грудями и животом, словно водворяя их на положенные места.

«Увы!» — подумал мужчина, но на сей раз выдержка начала ему изменять и в печальном, но сдержанном вздохе прозвучало нетерпение, а потом и сожаление.

— Но мы ведь и так друзья...

— Да, но не в том смысле, какой я имею в виду, — сказала женщина. — Мне такая дружба не нужна. Лучше уж никакой. — И опять поворочала вздутым животом.

— Ну так уходи, оставь меня, тысячу раз говорил — ты имеешь на это полное право, да что там право — основание, у тебя есть все основания, раз так, что же я могу поделать?

Женщина надулась, то есть выпятила губы.

— Нет уж, лучше ты меня брось, так мне легче будет забыть. Пройдет месяц, два, три, четыре, пять, и я забуду. Сначала будет тяжело, потом пройдет, — сказала женщина. У нее был очень красивый маленький ротик со вздернутой верхней губой, приоткрывавшей белые, тоже очень красивые, зубы, только на одном виднелась крупца металла. Над губой чуть заметно темнел пушок.

«И к чему все эти усилия, — подумал мужчина, — расставаться, не расставаться, я ее брошу, она меня, сколько усилий и сколько горечи от одних только размышлений! Может, это доктор прописал?» Но вдруг его осенило, и он едва не высказал свои мысли вслух: «Да ведь это признак молодости, такая нетерпимость свойственна молодым, которые не привыкли долго раздумывать и не испытывают сожалений».

Ветка покачивалась от легкого ветерка, пахнувшего снегом и чем-то еще, от чего снег в горах таял. Солнце пряталось за облаками, но откуда-то все же тянуло теп-

лом. В самом деле, когда женщина входила с улицы в натопленное помещение, щеки ее уже не краснели, как зимой, кожа была равномерно розовой, у шеи чуть желтоватой.

«Расплывется,— подумал мужчина,— на роду ей это написано, женщины с такой конституцией обычно расплываются, надо ей хорошенько следить за собой». Он произнес это вслух.

— Уж кто бы говорил,— ответила женщина, снова надувшись.— На себя посмотри: пуговицы не выдерживают. Я-то вообще ничего не ем.— И глаза ее вдруг увлажнились и заблестели.

— Ты теперь еще заплачь,— сказал мужчина не грубо, скорее, наоборот. И опять сказанная в миллиардный раз фраза навела его на мысль, что история в мельчайших подробностях повторяется: истории всех народов, государств, семей, все человеческие истории, в том числе их собственная,— не что иное, как повторение.

— Я не плачу,— сказала женщина и в самом деле не заплакала.— Просто я невезучая.

— Нашла кому говорить,— сказал мужчина,— это я невезучий, а не ты.

— Нет я, ты сам это видишь.

— Что вижу?

— Что я не могу тебя к черту послать,— сказала женщина, и в ее блестящих глазах, в неожиданно проступивших ямочках у рта, в приоткрывшихся зубах, соединенных ниточкой слюны, заиграла улыбка.

— Ты красивая женщина,— улыбнулся в ответ мужчина, решив, что гроза миновала,— у тебя вся жизнь впереди.

Последняя фраза показалась ему самой глупой из всех, но ведь действительно нет других слов, чтобы выразить это так же просто. «Ну как это сказать по-другому: «У тебя вся жизнь впереди». В самом деле, ведь любовь банальна, как она ни удивительна, собственно,

тем и удивительна, что банальна, и все же нести такую чепуху...»

Однако постепенно эта банальность — иными словами, история их любви, как сделанные «Полароидом» фотографии, которые проявляются в цвете лишь минуты через две, стала казаться не такой уж никчемной, в ней определенно было какое-то очарование, и, чем привычнее, тем дороже она ему становилась.

Неожиданно у крыльца раздался пронзительный щебет: птицы чего-то не поделили, одна наскакивала на другую, но длилось это считанные секунды — вскоре они исчезли.

— Откуда все эти пичуги? Весна, что ли, пришла? — удивился мужчина.

— Как же, весна! В феврале-то! — ответила женщина, все еще дуясь. — Ну ладно, привет, до свиданья и спасибо. — Она встала, расправив плечи, рывком застегнула молнию на шубе и перекинула через плечо сумку.

Слегка испуганно и с оттенком раздражения мужчина спросил:

— Ты куда это собралась?

— Я же сказала: «До свиданья и спасибо», — отозвалась женщина, копясь в сумочке.

Она достала пачку сигарет, вынула одну, щелкнула зажигалкой. Это мужчину успокоило. Женщина и впрямь не двинулась с места.

— Нет, правда, — сказала она почти жалобно, — надоело, я же тебе и по телефону говорила. Ну что это за жизнь? Все одно и то же, одно и то же, никакой перспективы. Надоело, серьезно, сыта по горло, — и то ли выпустила дым, то ли глубоко вздохнула.

«Тут требуется выдержка», — подумал мужчина и, помня об этом, перешел в контрнаступление.

— Что тебе надоело? — спросил он.

Женщина передернула плечами. «Толстая, — думала она. — А сам-то? На себя бы оборотился».

— Привыкнуть нужно. Живым существам свойственно приспособляться к обстоятельствам.

— Только не мне, я всегда на что-то надеюсь, а вот в тебе этого нет.

— Ты права,— ответил он,— тысячу раз права.— Но слово делу рознь, и, признавшись вслух в том, что он на самом деле давно уже чувствовал, мужчина вдруг ужаснулся.— Ну что же я могу поделать? — сказал он.— Такой уж я невезучий.

Еле заметный луч сумел наконец с помощью ветерка пробиться сквозь толщу облаков. Мужчина поднял голову — посмотреть, действительно ли это солнце, или просто немного развиднелось,— оказалось, солнце. В этот момент у сидевшей на ветке прямо над его головой той самой крошечной птички перышки в определенном месте чуть заметно сжались (птичка тоже смотрела вверх), и на лысину опустился теплый зеленоватый катышек. Послышалась трель.

POESIA

ПОЭЗИЯ

Однажды летним днем поэт, жизнь которого близилась к концу, сидел на маленькой, обращенной в сад входной веранде своего домика на окраине. В этом не было ничего поэтичного: домик как домик, крошечный сад, вокруг теснятся другие виллы, гравий, калитки, телевизионные антенны, кое-где белье на веревках. Рядом с поэтом сидела его бывшая кормилица, деревенская женщина, маленькая, вся в черном, и без очков читала вслух что-то из прозы, написанной им, когда он был молод и ездил по белу свету. Книга называлась «Восточные страсти», и почти никто ее не знал, как почти никто не ведал, что в этом уголке, где даже цикад не услышать,

еще живет поэт: в книге говорилось о том Китае, что в наши дни показался бы едва ли не вымышленной страной — настолько не вязались с нынешним Китаем эти напудренные, нарумяненные женщины, их шелка, колыханье их вееров.

Поэт знал: краски и шелесты, возникавшие и исчезающие, точно бабочки, на фоне его строк, писанных вечным пером, принадлежали другой поре, какой он сам принадлежал, но, поскольку жизнь двигалась к концу, это было ему все равно, и он восторгался приключениями, которые описал этими порхающими словами, восторгался так, как если бы их автором был кто-то другой, и свой восторг выражал шевелением бровей, легкими, будто дирижерскими движениями руки, неожиданным смехом до слез. Иногда он что-нибудь произносил, например: «удивительно!», «розовый крольчонок!», «браво!» (и смеялся), «мандарин Фу!», но больше молчал и слушал, недвижимый на своем маленьком стульчике, подобно Будде. Он растолстел — виной была непонятная болезнь, от которой его раздуло наподобие огромного плода, и над ним, словно над перезрелым подгнивающим плодом, тучками вились мошки и мухи. Время от времени ему на лицо садилась пчела, но не жалила, и он ее не замечал, поглощенный чтением кормилицы. Он был в старой соломенной шляпе, криво надетой на его седую бритую голову, глаза — создавалось впечатление, что он косит, хотя на самом деле это было не так, — вспыхивали веселыми искорками, будто все, что происходило в книге, комично. Он знал, что жить ему осталось совсем мало, однако, если не считать моментов, когда из глаз у него начинали струями литься слезы (тоже комичные), смеялся над всем как дитя. Женщина, на первый взгляд казавшаяся неграмотной, читала правильно, не торопясь, с паузами, и, стоило хозяину засмеяться, сама удивленно улыбалась, переставала читать и приговаривала: «Ишь, глупенький-то какой, глянь, как смеется!»

Нельзя сказать, что их окружала атмосфера болезни и смерти. Эта маленькая деревенская женщина была сухонькая и хромая, поэт тоже походил на деревенского старика, слегка впавшего в детство, хотя глаза у него были ясные, ироничные, полные удовлетворенной чувственности: даже не верилось, что он почти ничего не видит.

Появились посетители — довольно молодая пара. Однако мошек, парившее у него над головой, исчезло, как будто улетучился привлекавший их запах спелого плода; поэт сперва не узнал пришедших, а когда узнал, заулыбался, здороваясь, закивал: шляпа не удержалась на голове, упала на пол, и хромая старуха встала со стула, подняла ее и водрузила на место. Она тоже поздоровалась с гостями и собиралась предложить им стулья, но тут поэт, обращаясь к молодой паре, сказал:

— Мои «Восточные страсти», что за книга! — и плотоядно облизнулся, точно речь шла о каком-нибудь блюде.— Читай, читай дальше, Джованна.

Старуха, извинившись перед гостями и заметив хозяйню, что в такую жару не мешало бы угостить людей анисовой водой, продолжила чтение.

Гости взяли себе стулья и сели слушать. На самом деле они, конечно, не слушали: книга — теперь так уже никто не пишет — была им очень хорошо известна. Вместо того чтобы слушать, они думали, что поэт совсем скоро умрет — это чувствовалось, несмотря на сходство со спелым плодом, а быть может, как раз из-за этого сходства. Молодому человеку вспомнилась фотография поэта на море — обнаженного по пояс, поджарого, гибкого, несовременного,— и, глядя на него, он нашел преломившийся в его глазах горячечный свет страсти к морю, к горам и полям.

Старуха читала — и гостя удивило, что поэт при этом то и дело смеется, вытирая брызжущие слезы бумажными платками. В прозе, которую она читала размеренно, в ритме метронома, не было ничего смешного, и, хотя

молодой человек знал, что поэт в последнее время склонен едва ли не все воспринимать в комическом свете, сам он не мог заставить себя смеяться и веселиться вместе с ним.

Откуда ни возьмись вынырнула старая собачонка — беленькая с черным, на конце хвоста кисточка, глаза белые-белые, точно у привидения,— и ну прыгать вокруг них, мешая чтению, что тоже вызвало у поэта смех и обильные слезы. Он за ухо притянул к себе собачку и, щупая ей брюхо, улыбаясь круглым, будто у головы, вырезанной мальчишками из полого арбуза, ртом, сказал:

— Опять беременная.

Зашел разговор об общих знакомых, и поэт обнаружил хорошую память, но только часто прерывался на полуслове, чтобы посмеяться; иногда люди, которых они упоминали, давали основания для смеха, иногда нет, и все время гость, молодой и здоровый, с недоумением чувствовал себя умственно отсталым по сравнению со стариком. Ни с того ни с сего поэт спросил у старухи журнал. Поднявшись, она захромала, вздыхая, в дом и тут же вернулась с иллюстрированным журналом, но едва поэт увидел обложку — он объявил, что это совсем не то.

— Да нет же, нет, другой, с Аполлоном,— рассердился он, неожиданно выйдя из терпения.

Женщина опять вздохнула, пошла в дом и оттуда громко запричитала для гостей:

— Какой такой журнал, тут этих самых журналов пруд пруди, вечно подавай ему журнал,— но она говорила таким тоном, словно прекрасно знала, о каком именно журнале идет речь, и считала, что незачем показывать его посторонним. Кажется, она проворчала напоследок: — Тоже, моду завел!

Она вышла с журналом, и глаза поэта засветились, когда он протягивал руку, чтобы взять его. То был обычный журнал небольшого формата, который он сразу открыл на последней странице с рекламной фотографией.

Сначала он сам бросил взгляд на фотографию (старуха испустила долгий осуждающий вздох), после чего передал гостям, изобразив движением кустистых и еще черных бровей восторг, величайший восторг. Гости посмотрели на картинку: она представляла собой рекламу мотороллера — стоя рядом с девушкой, юноша лет восемнадцати, черноволосый, кудрявый, сильной загорелой рукой держал перед собой мотороллер. Парень и девушка смотрели друг на друга, должно быть разговаривали; сразу за спиной у них росли вечнозеленые кусты, а дальше было море. Вот и все. Велико было удивление гостей, которые, учитывая старухино осуждение и зная поэта, ожидали увидеть голое тело или тела, что сделало бы оправданным недовольство женщины. Ничего подобного: заурядная цветная фотография, к тому же не слишком удачная технически. Непонятно.

Зато поэт смеялся, и было что-то одновременно детское и тревожное в этом его смехе, на который опять слетелись мошки, и в глазах, казавшихся вдруг раскосыми, точно у японца — какого-нибудь толстяка актера из театра Но.

Поэт повторил восторженный жест рукой, облизнулся и снова сделался серьезным. Чуть погодя глаза его повлажнили, и слезы, брызнув, упали на журнал, будто роса. Он ткнул пальцем в руку парня на фотографии — в запястье.

Гости посмотрели, но там ничего не было, и все же молодой человек различил на этой загорелой руке, над кистью, светлое пятно, словно парень, загоравший на море в часах, наконец снял их. Почему-то молодой человек и его спутница увидели в этом проявление жизни, ее красоту.

Хромая старуха, нахмурившись, ворчала. Сцена с фотографией заняла всего несколько минут.

Как-то в ноябре одна девушка из деревни, у которой кожа на щеках была нежная, словно у ребенка, поехала в город за покупками. Она сама не знала, что именно собирается купить, но, как многих деревенских людей, ее притягивали и одновременно отпугивали магазины в городе: притягивали тем, что выбор товаров в них был гораздо более разнообразный, чем на еженедельных базарах у них в деревне, а отпугивали своими продавцами (незнакомыми), которым она не доверяла, роскошью чересчур ярко освещенных помещений и особенно ценами, учитывавшими эту роскошь. В руках у девушки был красный кошелек из скрипучей кожи, и в кошельке — довольно много денег, полученных за несколько месяцев работы на фабрике. Раньше она была бедная, а теперь нет и, желая доказать это себе самой и людям в деревне, решила непременно истратить все, только еще не знала — на что.

Холодный воздух пощипывал кожу — так газированная вода пощипывает летом язык, — голубое небо было в тон белой с голубым кофточке домашней вязки; плоть и цвет вещей, небо, редкие белые облачка и пушистая шерсть кофточки не просто гармонировали между собой, но были взаимосвязаны; это относилось ко всему, включая молочно-белую кожу девушки. Солнце струило крупные, будто в мультипликации, лучи, сверкавшие на стеклах очков. Даже имя девушки было связано с голубиной, с белым пухом, с яркими розовыми лучами: Палома, по-испански «голубка» (она родилась в Аргентине). Ей, небу, ее имени, кофточке и нежной детской коже, пахнувшей молоком или сливками, не мешал запах коровьего навоза, разбросанного рано утром по полям, белым от инея. Местность тут была ровная — сказывалась близость моря; равнина уходила вдаль, и белые дымы над ней, дома и деревья делались все меньше, пока не

растворялись в голубоватом тумане, из которого вставали далекие горы — может, Швейцария, может, Австрия; там и сям колокольни — остроконечные, либо в форме башни, либо с круглыми куполами — и колокольный звон.

Палома была в радостном возбуждении, типичном для людей бедных, когда им предстоит потратить деньги и вернуться домой с кучей покупок. В таком настроении она вошла в автобус и села рядом со старушкой, совсем древней, — та тоже держала в руках кошелек и еще четки. Не утерпев, словно делилась с подругой, Палома сообщила старушке, что едет за покупками в город.

— Будь осторожна, — предупредила старушка, у которой на подбородке росли редкие волосинки. — Ты такая молоденькая, а в городе одни обманщики. Тебе что надо купить?

Вопрос застал Палому врасплох: подобно всякой женщине, собравшейся на базар, она более чем смутно представляла себе, что должна купить.

— Там видно будет, — ответила она и пролепетала что-то насчет белья и подарков домашним.

Она решила больше не разговаривать со старушкой, в которой увидела как бы отражение собственной недоверчивости: с какой стати портить себе настроение? Старуха долго косилась жадными глазами на кошелек Паломы и наконец сказала с явным ехидством, выдававшим зависть:

— Разве можно держать кошелек не в сумке, а прямо на виду, в руке? Счастливая ты, воров не боишься. — И показала, где сама прячет кошелек, когда ходит по улице, — в глубоком кармане черной юбки.

В городе Палома начала не с базара на окраине, рассчитанного в первую очередь на приезжих из деревни, а направилась в центр. Она вошла в уютное кафе и заказала капуччино. Взяла одно пирожное, потом другое, потом третье. Открыла кошелек, который крепко сжимала в руке, и расплатилась. При виде крупных купюр в одном

из отделений кошелька ее снова охватило возбуждение. Она прошлась вдоль магазинов, изучая витрины: тут продавались сумки, там обувь, там белье и красивая — глаз не оторвать — одежда, в том числе джинсы и свитеры. Она долго смотрела на пару замшевых сапог за сорок пять тысяч лир (у нее хватило бы денег и на более дорогие) и подумала, что вернется сюда позже. Платьями она, правда, осталась недовольна: все какие-то блеклые, коричневых тонов — от кремового до кофейного, — а Палома надеялась найти в городских витринах что-нибудь особенное, броское — красное или в цветочек.

Она увидела одно платье с плиссированной юбкой, почти прозрачное, но зато хоть светло-зеленого цвета, и решила (впрочем, не очень твердо) зайти в магазин. Попросив платье, она хорошенько его рассмотрела и пощупала материю; продавщица предложила ей померить его. Сняв в кабинке брюки и кофточку, она осталась в теплой майке и прямо на нее надела платье.

Но едва она его надела, платье ей разонравилось — возможно, из-за майки, некрасиво просвечивающей через тонкую материю; к тому же, примеряя платье (очень поспешно), она все время думала о его бешеной цене: сто сорок тысяч лир. В кабинку проскользнула продавщица с блестящей темно-красной помадой на губах, толстым слоем косметики, одетая, как показалось Паломе, очень комично, и, продолжая разговаривать с кем-то, рассеянно сказала Паломе, что платье «изумительное» и сидит «божественно». С такой манерой выражаться Палома сталкивалась на каждом шагу — точно так же говорили девушки у них на фабрике, — и в ней опять проснулось недоверие к продавцам, подогретое еще в автобусе старухой с четками. Палома улыбнулась продавщице и сказала:

— По-моему, оно мне не очень идет, — а про себя подумала: «Изумительное, божественно — нет, милая, меня этим не проймешь» — и в спешке, словно хотела от кого-то убежать, уже стаскивала через голову платье,

боясь оставаться в нем лишнюю секунду, иначе получит-ся, будто она его отчасти уже купила.

Однако продавщица настаивала, чтобы она сняла майку и примерила еще раз, на лифчик и трусики.

— При такой фигуре, как ваша, вообще незачем носить майку,— сказала она.— Когда у девушки такая фигурка...

Покраснев, Палома подумала про себя: «Ишь, подъезжает!», но платье все-таки надела, хотя от нее не укрылась хитрость продавщицы, которая мысленно уже продала его и даже запаковала.

— И потом — оно чересчур летнее,— сказала Палома и, чувствуя себя голой в этом прозрачном платье, залилась краской.

Она сняла платье самостоятельно, не прибегая к помощи продавщицы, и та наконец закрыла свой рот, сложив губы трубочкой, как для поцелуя, и закатила глаза.

Выйдя на улицу, Палома решила (на этот раз твердо) купить сапоги. В обувной магазин она вошла уже гораздо спокойнее и, показав на витрину, попросила сапоги. Продавщица исчезла за дверью и, вернувшись с коробкой, сняла с нее крышку и отогнула в стороны крылья тонкой, приятно пахнущей бумаги. В коробке лежал всего один сапог, который Палома надела. Сапог оказался впору, и мех был очень теплый, с такими сапогами никакая зима не страшна; Палома обрадовалась и сказала, что берет их.

— Подождите, сначала второй примерьте,— сказала продавщица и отправилась на поиски: она обошла магазин, переговорила с хозяйкой, которая сидела за кассой вся в золотых побрякушках, и, наконец обнаружив сапог в витрине, достала его при помощи специального шеста. Но он был на номер меньше и не налезал. Палома изо всех сил старалась его натянуть, но безрезультатно. И хотя продавщица ее отговаривала, она чуть было не купила эту пару, в надежде, что со временем сапог разносится.

Из магазина она вышла с пустыми руками, расстроенная и злая: как же так? Ведь вроде бы при деньгах, а вот не может ничего купить.

Огорченная тем, что до сих пор ничего не купила, она отправилась на базар, где, обходя один за другим лотки и справляясь о ценах, почувствовала себя увереннее: цены здесь были для нее более доступны, не то что в центре, словом, «нормальные». В каком смысле «нормальные»? А в том, что здесь она может потратить столько, сколько захочет, ведь, слава богу, не нищая. Другие тратят, а ей кто запретит? Впрочем, она уже все равно на базаре, а не в магазине, и, поскольку подходило время обеда, она зашла в кафе поразмыслить и заказала себе бутерброд с бужениной и стакан белого вина. Откусив бутерброд, она подумала, что деньги за него, пусть и небольшие, не на ветер выброшены, да и кошелек, когда она открывала его, одобрительно скрипнул, словно в знак согласия.

Что же она видела в магазинах и на рынке? Кроме сапог, из-за которых готова была и сейчас расплакаться, ничего хорошего: и цвета неподходящие, и фасоны. Но тут же отвлеклась от этих мыслей и с молодой неутомимостью стала разглядывать «фирменные» лифчики и трусики, маленькие красные гребешки — закалывать волосы на висках (она бы хоть сейчас их купила, да уж больно дешевые) — и золотые колечки у ювелира, но колечко приятнее получить в подарок, чем самой покупать. Потом мимоходом поглядела на сабо с мехом внутри, но это пустяковая покупка, негородская вовсе, не то что пальто, выходные туфли, сумочка, меховой жакет или нарядное платье, — такую дешевку и на деревенском базаре купить можно. Оттягивая время, она зашла в бар позвонить одному знакомому. Не успела она набрать номер, как в стекло кабины начал барабанить похожий на Травольту* детина с черными вьющимися волосами, в широ-

* Джон Травольта — американский певец и киноактер.

ких брюках и остроносых туфлях. Он мешал Паломе разговаривать, она покраснела от злости и сперва решила не обращать внимания, а потом открыла дверь и крикнула срывающимся на визг голосом:

— Я тоже не бесплатно звоню и могу разговаривать сколько хочу!

— Ты уже полчаса звонишь! — возмутился парень.— Дерьмо собачье!

Палома почувствовала, что задыхается, у нее перехватило горло.

— От дерьма слышу! — ответила она и захлопнула дверь кабины, в которую парень опять принялся барабанить.

— Тут один тип в стекло стучит, не дает разговаривать, как будто я не за свои деньги звоню...— пожаловалась она знакомому визгливым по инерции голосом. Она была вне себя и, сказав знакомому, что позвонит потом, вышла из кабины.

— Ну ты, дерьмо!

— Сам дерьмо, куча дерьма!

Обменявшись любезностями с парнем, который, засунув руку в карман, водил носком ботинка по полу, Палома вышла на улицу и быстрым шагом направилась к лотку, где видела сабо. Они оказались из искусственной кожи — потому и стоили так дешево. Зато были ей как раз, и она их купила. Открыла лениво скрипнувший кошелек и вынула новенькую купюру, самую крупную, чтобы заодно разменять. Это движение и хруст пятидесятитысячной бумажки в руке немного успокоили Палому — намек на улыбку в ее глазах и две ямочки возле рта словно говорили: мои деньги, хочу — и трачу. Но ощущение торжества, от которого у нее вспотели подмышки, длилось недолго — несколько секунд,— и Палома решила продлить его, купив маленький букет красных гвоздик. Всего несколько секунд; вообще-то, одно расстройство: деньги в кошельке почти не убавились.

«Что я везу? — подумала Палома, уже сидя в автобусе с мокрыми подмышками и потому боясь простудиться.— Ничего. Ничего не купила. Во всем та старуха виновата»,— мысленно сетовала она.

Когда Палома приехала обратно, солнце светило уже не так ярко, как утром. Запах разогретого солнцем навоза стал сильнее. Паломе не терпелось обновить сабо с белой опушкой: вечером она идет на дискотеку, а завтра и вовсе воскресенье.

R

ПАМЯТЬ

RICORDO

Однажды некий человек приехал в Милан, где когда-то прожил много лет. Так как он был поэт, возраст его определить трудно: волосы седые, а повадки и увлечения ребяческие, и в то же время чувствовалась в нем культура человека уже немолодого, — все это было заметно с первого взгляда и сильно отличало его от всех остальных пассажиров, спускавшихся по привокзальной лестнице. Как это было заметно? По сумке для тенниса, по тому, как он вертел большой головой и как легко сбегал по ступеням. С ним поравнялось такси, и водитель сразу же окликнул его по имени, но сам он таксиста не узнал. Потом вдруг из глубин памяти возник этот человек, но молодой, стройный, немного сумасброд — как многие молодые, которым охота посумасбродничать, правда это скоро проходит, — однако и в воспоминаниях не особенно симпатичный. Много лет назад они были в одной компании мальчишек, собиравшейся возле Порты-Тичинезе, где тогда жил поэт.

«Да это же Абелярдо», — сказал он сам себе, припомнив тех ребят, выходцев с Павийской низменности; у них еще были вестготские и остготские имена, сохранившиеся со времен варварских нашествий.

Услыхав свое имя, таксист мгновенно преобразился почти что в прежнего мальчишку, несмотря на большой живот и капли пота на усталом лбу водителя такси. Он крепко обнял поэта за плечи, и они заговорили о том времени, которое их объединяло, — о поре почти двадцатилетней давности. Бары, танцульки, общие друзья. Посмеиваясь, они перебирали в памяти имена ребят в возрасте от пятнадцати до двадцати — ныне уже не ребят, а отцов семейств, разбросанных по всему Милану. Заговорили было и об умерших, но разговор как-то сам собой отошел от этой темы, омрачавшей пыл их воспоминаний.

— А Бертино, помнишь своего обожаемого Берти-

но? — спросил Абеярддо, и в глазах его искоркой мелькнуло лукавство, присущее наивным еще мальчишкам в ту пору, когда они как раз перестают таковыми быть.

Названный Бертино выплыл из памяти во всей своей хрупкости и обаянии, излучаемом его голубыми глазами, один из которых чуть косил. Сколько волнений и надежд было связано с Бертино: он работал в луна-парке, в передвижном тире, и уже одним этим — упоминанием о появлении освещенной будки и о ее исчезновении, после чего на месте тира оставался квадрат утопанной земли и опилок, разорвавшихся петард и дробинок, на пустом месте, без Бертино, — одним этим сказано уже почти все. Остальное, дополняющее это «почти», — совершенная пустота, отсутствие, темно-синее небо, усеянное звездами, которые, конечно же, не могли указать дорогу к другим луна-паркам провинции.

Сердце поэта не забилося учащенно, как прежде; оно стучало равномерно, как часы, не имеющие ничего общего с сердцем. И все же ему пришлось совладать с дрожью в голосе, прежде чем он вполне спокойно сказал:

— Бертино, что-то с ним случилось!

Желая ободрить его доброй вестью, Абеярддо взволнованно произнес:

— Да он же здесь, в Милане, в центре Милана, служит привратником на улице Монтенаполеоне. Твой обожаемый Бертино, признайся, ведь ты его обожал?

На этот раз в глазах Абеярддо уже не было никакого лукавства, а лишь сердечность и сожаление о былых временах, но из них двоих именно поэт полностью осознавал, что ушедших лет не вернуть. Потом Абеярддо назвал ему номер дома, где служил Бертино.

— Ты хоть наведишь его? — спросил таксист, из худенького мальчика превратившийся в тучного здоровяка. И этот бывший мальчишка принялся докучать поэту расспросами, много ли в Риме красивых женщин, знаком ли он

с «актрисками» и случается ли ему «бывать» у них. Эти пошлые, неуместные, «взрослые» вопросы в мгновение ока разрушили возникшую было доверительность разговора.

— Нет.

— Ну да, возраст все-таки,— опять глупо пошутил Абелярдо в меру своих нынешних представлений.

Но, слава богу, они уже подъехали к гостинице. Абелярдо отказался взять деньги за проезд, они распрощались.

Оставшись в номере один, человек почувствовал, как его охватывает легкое нервное возбуждение, которое, он знал, предвещало если не тоску, то, во всяком случае, тревогу, и сразу понял, что причиной тому — нарисованная его воображением картина: сверкающая огнями будка, вспышки выстрелов, и среди них — тщедушная фигурка Бертино, косившего голубым глазом.

Он поднялся с кровати и вышел из гостиницы; Монтенаполеоне была в двух шагах, и он направился туда, потому что хотел увидеть его. Почти сразу, в начале улицы, отыскал нужный номер и прошел через мраморный вход прямо к привратницкой. Прежде чем подать голос, он заглянул туда и увидел чью-то согнутую, почти горбатую спину над журналом комиксов. Привратник поднял голову, и на бледном, изможденном лице в обрамлении редких белокуро-пепельных волос человек увидел знакомый косящий глаз. У привратника, одетого с ног до головы в серое с золотой тесьмой по краю лацканов, дрогнуло веко, так, будто косящий глаз был стеклянным; с улыбкой, в которой засветилась внезапная надежда, он произнес:

— Марио! — А потом пулей вылетел из привратницкой и бросился к нему на шею.

Поначалу, как всегда в таких случаях, возникла неловкость, потом разговорились — неторопливо и спокойно. Бертино уговаривал приезжего пойти в соседнее, «очень уютное» кафе выпить аперитив, а может, пива или кофе,

что «весьма способствует пищеварению». Поэт согласился на кофе, затем они вернулись на полупустынную улицу. Бертино говорил не умолкая, приходя во все большее возбуждение, и беспрестанно повторял: «Прошли хорошие времена», так, будто они вовсе не прошли или он, во всяком случае, ратовал за то, чтобы времена эти не прошли.

Время от времени Бертино забегал в привратницкую проверить, не сигналит ли домофон.

— Ты женат? — спросил Марио.

— Да, и детей двое, — проговорил Бертино, слегка разочарованный, будто его перебили.

— Красивые дети?

Бертино помолчал немного, как-то потерянно кося глазом в землю, потом сказал:

— Красивые, да, особенно старший, второй родился без одной кисти.

— А жена?

— Ни на шаг меня не отпускает, вообще-то она хорошая, только вот не отпускает меня ни на шаг, я все при ней, при детях и, главное, при доме. Вот, как видишь, все время здесь, каждый день, и почти все субботы, и воскресенье тоже, и даже в августе, в самую жару, когда жильцы разъезжаются.

— Но почему так?

— Ради сверхурочных, жена всегда придумает, чего бы еще купить, ну и дом не на кого оставить: кто-нибудь позвать может, и уборка... Нет, уборку, конечно, не я делаю, этого еще не хватало, агентство людей присылает, но времена теперь такие пошли, что только глаз да глаз.

Бертино говорил и говорил, иногда ненадолго замолкая, — говорил, как думалось. О чем он думал? О прошлом, и поэт, глядя на него, слушая его, угадывал проходящие чередой воспоминания, облеченные в форму размышлений; Бертино был все такой же хрупкий, но от преж-

ней легкости не осталось и следа, да-да, хрупкий и в то же время какой-то тяжелый. «Его отягощает то, что зовется «бременем ответственности»,— подумал человек,— жена, необходимые покупки, дети, звонки хозяев, дом, уборка и главное — время, ведь это оно за все в ответе, а вовсе не Бертино». Человеку тоже вспомнились некоторые моменты прошлого, правда свободные от ответственности,— пропыленные заросли кустарника, грязь на берегах Тичино и многое, что он видел и чувствовал среди вспышек и треска выстрелов в тире и позже, когда будка была закрыта,— как оказалось потом, самое главное.

— А тир? — спросил он.

— Когда умер папа, я продал лицензию: не по мне это было — колесить из края в край с будкой на прицепе, безо всяких видов на будущее. Я ведь три класса средней школы закончил.

— Значит, тира больше нет.

— Ты угадал, нет,— смеясь, сказал Бертино.— Сам он загорелся или его ради страховки подожгли, да только сгорел весь луна-парк. Ты не читал в газетах? Два года назад, в Варезе. Все газеты сообщали.

— Я не читал,— сказал поэт.

— Слушай-ка,— продолжал Бертино,— а стихи ты по-прежнему пишешь?

— Бывает,— ответил он, улыбнувшись над собственным честолюбием, когда-то побуждавшим его показывать свои стихи мальчишкам, чтобы привлечь к себе общее внимание.

Бертино коснулся его рукой, которая показалась человеку костлявой.

— Послушай,— он сделал короткую паузу, выдавшую одновременно и скромность, и тщеславие,— а то, которое обо мне написал, ты еще хранишь? — Лицо его при этих словах ничуть не изменилось, но по щекам неожиданно потекли слезы.

— По-моему, да,— сказал человек и припомнил ка-

кую-то строчку, возможно из других стихов.

— Я слышал, ты по свету разъезжаешь...

— Случается.

Загудел домофон, они стали прощаться, и, когда обнялись, Бертино выглядел стариком, а человек, который был годами постарше,— его молодым смущенным потомком. Бертино кинулся в привратницкую, напоследок попросив:

— Ты шли мне иногда открыточки, на память.

— Ладно,— ответил поэт,— договорились.

S

СИМПАТИЯ
СОН
ОДИНОЧЕСТВО

SIMPATIA
SOGNO
SOLITUDINE

Однажды зимней ночью этакий волосатый хиппи, обаянный случаю и матери-крестьянке именем Бортоло, проснулся оттого, что где-то скреблась мышь. Вместе со своей подружкой, неизвестно каким ветром занесенной в Италию француженкой лет двадцати по прозванию Папийон*, Бортоло спал на покрытом старыми одеялами и спальными мешками сене. Обитали они в заброшенном, полуразвалившемся деревенском домишке, который примостился на берегу быстрой речки, будто снесенный талыми водами с гор обломок породы, и не делали практически ничего, если не считать нескольких часов преподавания (оба окончили университет и знали языки) в расположенной неподалеку частной школе, куда ходили пешком в протертых до дыр башмаках. В свободное от уроков время Папийон занималась с глухонемым ребенком, внуком зажиточных и неотесанных крестьян, владевших этим затерянным в глуши домишком.

Бортоло прислушался — мышь скреблась явно где-то поблизости, может быть в корзине у них в ногах, — и в тишине туманной, студеной ночи ему подумалось, что зубы у нее стальные — такими громкими, похожими на скрежет плотницкого рашпиля были звуки, — и он представил себе настоящего плотника, захваченного работой.

Проснулась и Папийон — тоже лохматая, с пышной шапкой спутанных кудрей, сквозь которые она силилась разглядеть что-то во тьме. Оба с некоторым свойственным молодости обалдением слушали.

Мышь работала рашпилем довольно долго: потом шум стал тише и ровнее, как будто строгали рубанком. Звуки чередовались: то по дому разносился скрежет рашпиля, то его сменяло шуршание снимаемой стружки. Потом все

* Мотылек (франц.).

изменилась, налетел порывистый ветер, и на крыше закрипел кривой железный флюгер.

Хлопотливый зверек на время затих и вновь разбудил их уже под утро: это опять был плотник, надоедливо и методично работавший пилою, рашпилем и рубанком.

Рассерженная Папийон села на постели.

— Цыц! — прикрикнула она. — Цыц, кончай, зануда! — прикрикнула так повелительно, таким резким, свистящим голосом, что Бортоло словно воочию увидел, как мышонок испугался (совсем как порою сам Бортоло), отчего волосы под диснеевской шапочкой встали дыбом, сел и уставился в землю, сложив на груди передние лапки. Мгновенно воцарилась тишина, Бортоло с Папийон сплелись чуть ли не в узел и заснули. Перед рассветом сильно похолодало, ветер не унимался.

Проходили дни, выпал (крупными редкими хлопьями) снег, опять стало туманно, река дымилась так, что не видно было воды, но зверек не умел сидеть без дела. Вынужденный ночью прерывать работу из страха перед Папийон, днем он бездельничать уж никак не мог и раздражался внезапными вспышками активности, плотничая или строя: это были напряженные вахты минут по десять-пятнадцать, когда он месил, укладывал камни, пилил, скреб рашпилем, строгал. Стоило Папийон цыкнуть, как зверек тут же затихал; попробовал и Бортоло, но безуспешно. От ревности в душе его стала накапливаться неприязнь к зверьку, которую он черпал в своем крестьянском происхождении. В такие минуты Бортоло подумывал о капкане, ударе лопатой и ядах. Своими планами он поделился с Папийон.

— И думать не смей, да что он тебе сделал, такой симпатичный?

— Можно узнать, чем это он так тебе симпатичен? Ты погляди только, что он творит, — сказал Бортоло, указывая на все увеличивающиеся дыры и на крошечные кучки помета, которые зверек с безразличием и полным отсутст-

вием воспитанности и культуры оставлял где попало, даже возле хлеба в буфете. Он ведь не только работал, но и беспорядочно, даже нахально, кормился где хотел, портя продукты с нелепой расточительностью. К примеру, насквозь проедал хурму, или сдобный кулич, или подходившую по толщине книгу. Это выводило из себя Бортоло, который питаться мышинными объедками не решался.— Ну, чем же он тебе симпатичен? Отвечай!

— Пусти, больно,— вырвалась Папийон.— Тем, что он вроде нас, его работа бесполезна, он не извлекает никакой пользы, никакой выгоды, он бескорыстный. Этим и симпатичен.

Про себя Бортоло признал, что Папийон совершенно права, но зверек мешал, мешал ему, Бортоло, он производил массу работы — пускай это выглядело поэтично — и массу шума. И вообще Бортоло ревновал, да, ревновал, потому что знал — сам он не такой симпатичный. Он решил уничтожить его: в конце концов, обычная мышь, вредоносная тварь. Купил птичьего клею, намазал дощечку и положил ее перед дырой: там он непременно пробежит, прилипнет, и уж тогда ему прямая дорога в печку.

— Ну и жестокий ты,— заметила Папийон, но была она рассеянна и противиться не стала — вот уже несколько дней ее мысли занимала красная кофточка из гусиного пуха.

Бортоло пристроил дощечку с клеем и сначала часто, а с течением дней все реже посматривал на нее: никаких следов зверька.

А между тем мышонок начал показываться — с невероятной быстротою он появлялся и исчезал. Это и впрямь был маленький зверек. Папийон, завидев его, взвизгивала с каждым разом все тише, но эти выходки распалили ненависть Бортоло, которому казалось, что за короткие мгновения он успевает разглядеть его уши. Бортоло купил отраву — что-то вроде семян розового цвета, оттен-

ка "shocking"* (по поводу этого "shocking" он немного поворчал) — и рассыпал ее вокруг дырок и мест наиболее вероятного появления зверька.

Шли дни, мышонок по-прежнему — и даже с каждым днем все больше — располагал к себе тем, как озабочен был своей работой, как торопился завершить ее и сдать. Что именно? Да ничего, бесполезную суету. Но образ его действий, манера работать, наивная и упрямая, не могли не вызывать симпатии, как почерк любого мастера своего дела. И все же отвращение не проходило; читая Фрейда, Бортоло нашел подтверждение этому чувству, и никакой Лоренц не смог бы заставить его отказаться от своего намерения. Как-то ночью Папийон, устав призывать зверька к порядку, пригрозила:

— Фрейдом в тебя запущу,— и невольно попала в точку: вот кто умел справляться с мышами.

Мышонок почтительно замолчал.

В другую ночь Бортоло охватило беспокойство. Он встал, послонялся по дому, затем пошел принести дров. Поеживаясь от холода, он услышал вдруг слабое царапанье, слабое и — он сразу почувствовал это — болезненное. Зверек был болен, отравлен. Бортоло показалось, что звук исходит от разложенных на полке плодов хурмы. Он пошарил между ними палочкой, отодвинул один и увидел мышонка, совсем крошечного; тот сидел к нему задом, пугливо спрятав голову между плодами. Потом, медленно и не думая убежать, повернулся и, обратив к Бортоло маленькую ушастую головку, взглянул на него. Мордочка у зверька была как у слабоумного — слабоумного старого человека, и малюсенькие, блестящие, с узким разрезом глазки уходили кверху, к ушам, в окружении крошечных морщинок.

«А я думал, глаза у него круглые», — мелькнуло у Бортоло, и от этого зрелища наследственного вырождения,

* Шокирующий (англ.).

этого воплощенного слабоумия, этого толстого задика, походившего скорее на горб и едва заметно двигавшегося из стороны в сторону прямо перед его лицом, Бортоло чуть не стошнило. Он поискал глазами что-нибудь острое — проткнуть зверька, — но потом решил: «Он уже недолго протянет» — и оставил его там же, среди хурмы. Он стал с содроганием думать о многочисленных внешних признаках вырождения в природе, о *gartus**, о судорогах, венчающих интимную близость, об уродствах и наконец устроился рядом с Папийон, такой эстетически совершенной, на самом деле симпатичной, с ее приоткрытыми, будто для поцелуя, и сложенными сердечком губами, совсем как у младенца, приготовившего сосать материнскую грудь. Несколько часов он провел без сна: тишина была полной, зимней, глубокой. Несимпатичной.

SOGNO

СОН

Однажды ночью Пьеро, директору банка и обладателю большого мясистого носа, приснился сон: как будто в ящике комода, в своей собственной спальне, переворачивая все вверх дном, с нарастающим беспокойством он ищет старую-престарую авторучку марки «ОЛО», сохранившуюся с гимназической поры. Однако, как он ни старался, найти не мог, хотя и был уверен, что она должна быть там, где лежала годами, и уж едва сдерживал рыдания, охваченный отчаянием и какой-то ребяческой тревогой. И как же могла она исчезнуть, если во сне он прекрасно помнил не только что она всегда лежала именно там, но и что почти ежедневно он открывал ящик и какие-то мгновения смотрел на нее — ровно столько, чтобы вспом-

* Конвульсиях (лат.).

нить, как появилась она в его жизни и как стала его собственностью?

Происходило это не во сне, а днем, именно тогда, когда он видел ее в футлярчике, почти незаметную между сложенными стопкой носовыми платками, пакетиком с лавандой и внутренней перегородкой ящика. Глядя на нее в дневное время, он всякий раз отчетливо, как на экране, видел себя мальчишкой, что впился глазами в витрину писчебумажного магазина: она была прикреплена резинкой к обтянутому темно-красным бархатом кругу вместе с другими — бело-голубая самописка, сделанная под мрамор или, скорее, малахит, но только не из зеленого, а из голубого бакелита с перламутровыми прожилками. Любуясь ею, он долгое время воображал ее своей, пока однажды, в очередной раз восхищенно застыв перед витриной, робко, как умел только он один, не выразил это свое восхищение стоявшему рядом дедушке. У деда, родовитого землевладельца с коренастой фигурой и таким же большим и мясистым, как у внука, но превосходившим его по количеству прожилок и пор носом, во взгляде мгновенно промелькнуло понимание, и он спросил:

— Она тебе в самом деле так нравится?

— Да,— ответил Пьеро, и такой тембр голоса ему суждено было иметь в жизни еще только раз — во время венчания, и никогда больше. Тот раз, однако, был первым, и старик едва расслышал это «да»— до слуха его доносилось лишь нечто среднее между хрипом и писком.

Дед в подбитой бобром шубе и черной широкополой фетровой шляпе взял его за руку, и они вошли в магазин: это произошло 12 января 1944 года на темной, продывленной улочке Венеции, рядом с закускойной. Что-то летело с неба — дождь, или, может быть, мелкие клубы дыма, или частицы сажи из печных труб, или то был первый послеполуденный туман. Пьеро не осознал еще, что вот-вот должно было случиться. То был момент наибольшего

еросché*, миг тревожного ожидания.

Ручка была тщательно осмотрена; Пьеро уловил слова «восемнадцать каратов», стоимость прошла мимо его слуха; потом ему дали самописку в руки, но он был вынужден расстаться с нею на то короткое время, пока продавец наполнял ее синими чернилами, погрузив в усеченную пирамидку — пузырек чернил «Пеликан», — Пьеро услышал, как заработал крошечный резиновый насосик. После этого самописка вновь была вручена ему в футлярчике из картона, спрессованного под крокодиловую кожу. Они вышли на улицу, Пьеро поцеловал дедушку, и его уже тогда крупный нос приблизился к дедову, который казался Пьеро просто огромным: они были похожи внешне и близки внутренне.

Потом день 12 января 1944 года растворился в череде прошедших лет (их миновало без малого сорок); память Пьеро сохранила из того дня лишь троих немецких полицейских, которые шагали, громяхая оружием, по узким улочкам, пока не скрылись в тумане. Теперь, во сне, перед ним опять возникли и сажа печных труб, и дым, и мокрая булыжная мостовая.

Тот день подарил ему самые счастливые минуты его жизни, сводившейся в представлении Пьеро к военным и послевоенным годам. Авторучка сопровождала его в школу, проходила вместе с ним учебные предметы, латынь, греческий, была для него все равно что Плутарх. Не расставался он с ней и во время поездок к деду в усадьбу, в комнатке с печным обогревом, где были только кровать, стол и словарь Георгеса. «ОЛО» находилась во внутреннем кармане пиджака, когда Пьеро услышал треск (или разрывы?) автоматных очередей, выпущенных в плен-

*'Ελοχή (греч.) — остановка, прекращение; воздержание от суждения. Философское понятие, сложившееся в античном скептицизме.

ного англичанина, светловолосого, бледного и оборванного, которого расстреляли у крепостной стены; оказался он сам у той стены, подумал Пьеро, ручка бы разбилась на мелкие кусочки.

Постепенно (Пьеро не мог этого знать) отпущенное ему счастье сходило на нет: наступил 45-й, потом 46-й, 47-й год, и оно кончилось, как кончается жизнь, но в те годы Пьеро вкусил его сполна: ему истинное наслаждение доставляли деревня и ее запахи, вид оплывших печных труб на венецианских улочках, холод, жизнь крестьян, его жизнь с дедом, сев, сбор урожая, конюшни и почти вездесущий запах навоза, а в особенности сбор винограда и терпкий аромат вина. Пьеро был очень счастлив, когда в тумане бродил за деревней по топким тропинкам среди диких ив, где зловонные собаки вдруг срывались с места, подняв сову; проходя мимо домов, он вдыхал запах поленты и чуть прогорклого свиного сала.

Прекрасны были и дни, проведенные на Лидо в начале лета, когда почти никто еще не купался; авторучка «ОЛО» безо всякой необходимости сопровождала его и туда. В сущности, поскольку жизнь человека всегда сводится к его счастливым годам (несчастливые в каком-то смысле схожи с небытием), Пьеро прожил пять лет, и годы эти продолжали теперь существовать в авторучке. Вот почему она не могла исчезнуть, это невозможно, чтобы она исчезла, ведь тогда исчезла бы его жизнь и, стало быть, он должен был вскоре умереть, если уже не умер; оттого-то и охватила его во сне тревога.

Пьеро проснулся в полном отчаянии, со слезами на глазах. Рядом спала жена — крепко и без тревожных сновидений, а в соседней комнате — двое нежно любимых сыновей. Тоже без тревог, живые и здоровые. Живые люди, которых он, конечно, любил, но такие непохожие на него с его большим мясистым носом, его авторучкой, его оплывшими печными трубами; такими непохожими и далекими казались сейчас эти люди, потому что они были

непричастны к пяти годам счастья и, следовательно, жизни. Какое отношение имели они к бело-голубой «ОЛО» с перышком в восемнадцать каратов, к тому пузырьку чернил, к разным другим пузырькам и к Плутарху? Никакого — после, после, все это случилось после, и это «после» не стоило ровным счетом ничего, если ручка не лежала там, в комодe, как было всегда, с незапамятных времен.

Он встал с постели; жена приоткрыла на миг светло-голубые, точно эмалевые, глаза и недовольно застонала, но Пьеро и не услышал — так бывает, когда все заглушает отчаяние. Он бросился к комоду, теперь уже наяву, сразу открыл второй ящик и глянул в левый угол, туда, где лежали носовые платки и лаванда. Ручка была там, бело-голубая (когда-то белые, перламутровые пестринки пожелтели), она лежала на месте, подтверждая, что он еще жив, более того — что пять лет он был счастлив. Пьеро водрузил на нос очки, зажал ручку двумя пальцами, отвинтил колпачок, взглянул на перышко со следами засохших, порыжелых чернил и вдруг поцеловал самописку, потом еще раз и еще, плача и смеясь посреди ночи. Наконец завинтил колпачок и положил на прежнее место. Отправился на кухню с записной книжечкой: по примеру своего деда, он ежедневно делал в этой сувенирной банковской книжечке какую-нибудь запись. Занес туда: «Ночь на 17-е июля 1979 г.: приснилось, что не мог найти «ОЛО» — дедушкин подарок. Страшная боль в сердце, думал, отдам богу душу. Сразу стал искать в комодe, нашел и поцеловал. Есть, милая, есть!»

Он вернулся в постель и до утра проспал без всяких сновидений, он вообще редко видел сны. Утром по обыкновению отправился в банк пешком, в хорошем настроении — как, впрочем, и всегда. Вместе с кофе взял и с величайшим удовольствием съел пирожное; оно подошло и стоило теперь 250 лир.

В один студеный зимний день некая женщина средних лет, долгое время проведшая в скитаниях, решила принять приглашение друга, жившего с дочерью в низменной и влажной местности. Сказать «решила» — значит преувеличить. В таком состоянии духа не могла она ни на что решиться: тогда она дрожала всем телом, вплоть до рук и пальцев, скрытых шерстяными перчатками и узаннанных кольцами, каждое из которых служило напоминанием о чем-то. Судя по виду, за собой она совсем не следила, не пользовалась косметикой, в чемодане она несла какие-то старые тряпки, а на плечах — расплзающуюся по швам, вытертую шубенку. Она не была бедна, но казалась нищенкой, еще совсем не старая, выглядела старухой, и некрасивой ее нельзя было назвать: глаза и губы этой женщины, выражавшие почти всегда муку и смятение, были почти прекрасны. Вот одинокая — это правда.

Итак, она добралась с чемоданами до маленькой станции, а потом и до скромного на вид, но хорошо отапливаемого крошечного — всего из трех комнат — домика. Был вечер. На столе ее ждал нехитрый, без претензий обед, она поела и легла в одной комнате с дочерью друга, где вся обстановка состояла из двух кроватей; ночью за окнами дул ветер, которому разгуляться место было, а вот заборов, чтобы проноситься меж кольями со свистом, не хватало. Какое-то время спустя она на минутку зажгла свет — вспомнила о снотворном — и увидела на соседней кровати взрослую дочь друга: зарывшаяся в стеганые одеяла и подушки, та походила на маленькую девочку. Она спала как убитая, и пухлые, мягкие щеки ее пылали. Женщина вспомнила, что у нее детей нет, быстро погасила лампу и наконец почувствовала, что засыпает; напоследок до нее донеслось снизу потрескивание огня в камине.

Наутро была хорошая погода, и женщина, надев резиновые сапоги и ветхую шубейку, долго бродила размокшим по зиме полем, встречая на пути кусты ежевики и сушняк. Видела она издали и стайку цесарок, а потом подняла на земле потерянное одной из них перо. После встретила какую-то крестьянку и наконец добралась до деревни. Там она купила газеты, кое-что в аптеке и перекинулась несколькими словами с сидевшими в кафе. Когда она сказала, к кому приехала, на нее стали смотреть не как на гостью, а как на свою, местную. К полудню она вернулась по полям обратно; на душе у нее стало поспокойнее. Хозяин был дома, а вскоре пришла и дочь, работавшая на фабрике; они посидели у зажженного камина, поговорили; голос девушки звучал как ласточкин щебет, неожиданный среди зимы. Она потом опять ушла на фабрику, а женщина и ее друг провели остаток дня за разговорами об общих знакомых, разбросанных по разным далеким городам. Это тоже как-то успокоило женщину.

К ужину пришли друзья дочери: парень с фабрики и его невеста, учившаяся на медика. Завязалась беседа, и женщина, которую пришедшие видели впервые, завладела их вниманием. Все ее манеры, ход мыслей и речь — как отчасти и у хозяина дома — были городскими, а склад ума и выговор остальных выдавали жителей деревни. Ситуация немного напоминала сказку про мышей деревенских и городских. Обычно взаимного притяжения между селянами и горожанами не возникает именно из-за внешней несхожести, но в данном случае произошло как раз обратное. Здесь, несмотря на различие повадок и оборотов речи, все деревенские, в том числе и хозяин, разделяли одно (невысказанное) чувство — замороженность неотразимым обаянием этой женщины. Человек задумался о причинах и, не будь тут самой женщины, без обиняков спросил бы у всех, но в общем-то понимал и так: всеобщая симпатия была откликом на ее трудные жизненные обстоятельства (подобное случалось во время войны,

когда беженец находил приют в деревенском доме).

«Так-то оно так,— думал человек,— но и беженцы тоже не все одним миром мазаны. Попадались совершенно несносные». Он посмотрел на женщину, с которой был знаком много лет, и попытался составить о ней суждение, но не смог — в этом, очевидно, и был один из секретов ее обаяния; тогда он привлек себе в помощь сердца и умы других, в том числе собственной дочери. Та сидела рядом с женщиной, невольно, как-то по-детски прильнув к ней и глядя на нее снизу вверх (девушка была пониже) через большие стекла очков. Студентка что-то говорила и улыбалась, молодой рабочий тоже смотрел на женщину, все были ею покорены, и хозяин не знал, гордиться ему или ревновать. Он стал спрашивать себя, что так покоряло их (в чем причина этой симпатии), и нашел несколько объяснений, ни одно из которых его не удовлетворило. Новизна? Любопытство? Извечная тяга сельских жителей к горожанам, не всегда, однако, сопряженная с симпатией? Непохожесть, выговор, живой интерес, проявленный ею ко всем затронутым в разговоре темам? А может, просто тембр голоса, утонченные манеры, печать душевных мук, руки, взгляд? Конечно, все это имело значение, но было и нечто другое, а именно обаяние. Но тогда что же такое обаяние?

В одиннадцать часов все попрощались и отправились спать. Но в ту ночь и мужчина, и женщина долго не могли уснуть и слушали шум дождя, которому удалось расколоть ледяную корку; дочка же спала, укутанная теплом пуховика и собственного тела, и ни о чем не догадывалась: она была молода. На следующий день женщину пригласили на завтрак еще одни друзья, жившие неподалеку, и человек зашел туда за ней. Появился он в разгар общей беседы, и от его внимания не ускользнуло то же, что он подметил накануне вечером. В комнате царил атмосфера симпатии, и хозяин дома, красивый, ясноглазый крестьянин с усами и бородой, обнимал женщину за плечи, слов-

но желая защитить ее; жена его тоже не отрывала от нее взгляда своих блестящих, слегка прищуренных глаз.

Было ли и здесь дело в новизне, в том, что прошло много лет, в радостной, долгожданной встрече с давним другом, что всегда словно омолаживает людей? Да, и во всем этом тоже, но это было не главное. Главного же человек не замечал или не хотел замечать. На самом деле главное было у него в руках, но оно относилось к тому моменту жизни, который он слишком часто упускал, как будто хватка его рук ослабевала. Упускал не из равнодушия или бесчувственности, а от скуки.

С каждым днем (а прошло их всего четыре) женщина выглядела все более умиротворенной и с каждым днем завоевывала новые симпатии — даже тех людей, с кем знакомилась мимоходом. На один из этих дней пришлось ее именины, и несколько человек, с которыми она едва успела пообщаться, принесли ей цветы и сладкий пирог. Друг этому вовсе не удивился, однако решил поразмыслить над тем, какая связь существовала между тягой к женщине местных жителей и постепенным ее успокоением. Ему были довольно хорошо известны причины ее страданий, причем гораздо больше говорили об этом руки, сутулость, неуверенные шаги, спотыкание на ровном месте, все углубляющиеся морщины у рта, нежели ее слова.

Чувству местных жителей к женщине, однако, объяснения не находилось: оно, конечно, не могло быть простым восхищением ее манерами, а стало быть, существовал вокруг нее некий не связанный с пришедшими ему в голову поверхностными, банальными мотивами ореол очарования, которому, казалось бы, неоткуда взяться. Не была она ни молодой, ни красивой, ни богатой, ни хорошо одетой, наоборот, напяливала чуть не лохмотья, и бродила она в утренние часы по полям, время от времени нагибаясь, чтобы подобрать камешек, перышко, прутик, которых никто, кроме нее, не замечал. И все-таки было в ней что-то внушительное, внушающее уважение, и это «что-то» про-

творечило и поведению ее, и облику. Ведь и сам он, как все прочие, был ею покорен.

Он разглядывал эту женщину, когда она возникала на краю огромного луга, двигаясь к дому, блуждающая в задумчивости мохнатая коричневая точка. Отворял окно, и женщина тут же поднимала казавшееся издали бледным пятнышком лицо, затем руку в приветственном жесте и убыстряла шаг. Этого было достаточно, чтобы человек, подобно всем остальным, чувствовал себя покоренным.

Женщина успокоилась — настолько, что уже не плакала все время, как в тот день, когда он ее встретил (собственно, затем он и пригласил ее к себе), но не настолько, чтобы вновь стать такой, какой он знал ее много лет. Прошло еще несколько дней, и она уехала, обещая всем, кто ее приглашал, скоро вернуться.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5	
Е. Сапрыкина		
ЛЮБОВЬ	17	Amore
Перевод З. Потаповой		
ПРИВЯЗАННОСТЬ	22	Affetto
Перевод З. Потаповой		
ДРУГИЕ	25	Altri
Перевод З. Потаповой		
ДУША	29	Anima
Перевод А. Веселицкого		
РАДОСТЬ	34	Allegria
Перевод А. Веселицкого		
РАЗДРАЖЕНИЕ	40	Antipatia
Перевод А. Веселицкого		
ПОЦЕЛУЙ	49	Bacio
Перевод А. Веселицкого		
РЕБЕНОК	54	Bambino
Перевод З. Потаповой		
КРАСОТА	60	Bellezza
Перевод А. Веселицкого		
ДОБРОТА	65	Bontà
Перевод З. Потаповой		

ОХОТА	73	Caccia
Перевод А. Веселицкого		
ЛАСКА	77	Carezza
Перевод З. Потаповой		
ДОМ	80	Casa
Перевод А. Веселицкого		
КИНЕМАТОГРАФ	85	Cinema
Перевод З. Потаповой		
СЕРДЦЕ	89	Cuore
Перевод А. Веселицкого		
НЕЖНОСТЬ	97	Dolcezza
Перевод А. Веселицкого		
ЖЕНЩИНА	102	Donna
Перевод З. Потаповой		
ЛЕТО	109	Estate
Перевод З. Потаповой		
ВОЗРАСТ	114	Età
Перевод А. Веселицкого		
*СЧАСТЬЕ	121	Felicità
Перевод Е. Дмитриевой		
*ГОЛОД	125	Fame
Перевод Н. Ставровской		
*МОЛОДОСТЬ	131	Gioventù
Перевод Н. Ставровской		

*ГРАЦИОЗНОСТЬ	136	Grazia
Перевод Е. Дмитриевой		
*ГОСТИНИЦА	145	Hotel
Перевод Е. Дмитриевой		
*ПРОСТОДУШИЕ	155	Ingenuità
Перевод Н. Ставровской		
*ИТАЛИЯ	162	Italia
Перевод Е. Дмитриевой		
*РАБОТА	171	Lavoro
Перевод Н. Ставровской		
*МАТЬ	179	Madre
Перевод Н. Ставровской		
*МЕЛАНХОЛИЯ	184	Malinconia
Перевод Н. Ставровской		
*МОРЕ	190	Mare
Перевод Е. Дмитриевой		
*СКУКА	199	Noia
Перевод Н. Ставровской		
*НОСТАЛЬГИЯ	204	Nostalgia
Перевод Н. Ставровской		
*БЕЗДЕЛЬЕ	213	Ozio
Перевод Н. Ставровской		
*ОТЦОВСТВО	221	Paternità
Перевод Н. Ставровской		

*РОДИНА	226	Patria
Перевод Н. Ставровской		
*СТРАХ	230	Paura
Перевод Е. Дмитриевой		
*ВЫДЕРЖКА, ВЕСНА	234	Pazienza, Primavera
Перевод Н. Ставровской		
*ПОЭЗИЯ	239	Poesia
Перевод Е. Дмитриевой		
*БЕДНОСТЬ	244	Povert`a
Перевод Е. Дмитриевой		
*ПАМЯТЬ	253	Ricordo
Перевод Н. Ставровской		
*СИМПАТИЯ	261	Simpatia
Перевод Н. Ставровской		
*СОН	267	Sogno
Перевод Н. Ставровской		
*ОДИНОЧЕСТВО	272	Solitudine
Перевод Н. Ставровской		

Гоффредо Паризе

БУКВАРЬ

Составитель Елена Юрьевна Сапрыкина